

Это книга, в которой я лично всегда нуждался,
но на появление которой не надеялся, считал, что все
это погребено навсегда под тяжестью нашей трагедии.
И я благодарен ее автору за то, что она нашла
и собрала все то, что мы сейчас прочли. За то,
что она отняла эту часть нашего прошлого у небытия.

НАУМ КОРЖАВИН

Наталья
Громова

**Ноев
Ковчег
писателей**

Эвакуация 1941–1945

Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата

CoRpus

Наталья Громова

**Ноев ковчег писателей.
Эвакуация 1941–1945. Чистополь.
Елабуга. Ташкент. Алма-Ата**

«Corpus (ACT)»

2019

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

Громова Н. А.

Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1945. Чистополь. Елабуга.
Ташкент. Алма-Ата / Н. А. Громова — «Corpus (АСТ)», 2019

ISBN 978-5-17-106840-0

Второе издание книги Натальи Громовой посвящено малоисследованным страницам эвакуации во время Великой Отечественной войны – судьбам писателей и драмам их семей. Эвакуация открыла для многих литераторов дух глубинки, провинции, а в Ташкенте и Алма-Ате – особый мир Востока. Жизнь в Ноевом ковчеге, как называла эвакуацию Ахматова, навсегда оставила след на страницах их книг и записных книжек. В этой книге возникает множество писательских лиц – от знаменитых Цветаевой, Пастернака, Чуковского, Федина и Леонова и многих других до совсем забытых Якова Кейхауза или Ярополка Семенова. Книга основана на дневниковых записях, письмах, мемуарах и устных рассказах свидетелей тех лет. Читатель сможет увидеть бытовое, житейское, непарадное лицо войны.

УДК 821.161.1.09

ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

ISBN 978-5-17-106840-0

© Громова Н. А., 2019

© Corpus (АСТ), 2019

Содержание

Предисловие	6
Москва. Начало войны	9
Бомбежки	12
Цветаева. Попытка отъезда	16
Москва-река Кама 8 августа	18
Чистополь. Елабуга. 6 июля – 18 августа	21
Рассказ Берты Горелик. Чистополь – Берсут	24
Елабуга. 18–24 августа	28
Рассказ Либединской о Нине Саконской	31
Чистополь Цветаевой 24–28 августа	32
Без меня Мур будет пристроен... 28–31 августа	37
31 августа	39
Разговор с Вадимом Сикорским	41
Похороны эвакуированных	42
Отражение гибели Цветаевой	45
Мур в Чистополе. Сентябрь 1941 года	47
Москва. Осень 1941 года Сентябрь-октябрь	52
Осень в Москве: Луговские. Белкина	55
Второй вал эвакуации Казанский вокзал	60
Поезд	64
Поезд (продолжение) Фронт – эвакуация	68
Москва. 16 октября	70
Москва – Казань – Чистополь. Октябрь – ноябрь	75
Ташкент. Конец 1941-го начало 1942 года	79
Ташкентский мир. Расселение писателей	85
Горький запах эвакуации	87
“В этой комнате колдунья до меня жила одна...”	90
Опыт бедственного счастья	92
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Наталья Громова
Ноев ковчег писателей.
Эвакуация 1941–1945. Чистополь.
Елабуга. Ташкент. Алма-Ата

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко В книге использованы фотографии из архива автора.

Автор благодарит за предоставленные фотоматериалы наследников Г.Л. Козловской, музеи Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге и Марины Цветаевой в Елабуге

© Н. Громова, 2008, 2019

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО “Издательство АСТ”, 2019 Издательство CORPUS ®

Предисловие

В этом издании объединены и дополнены два документальных повествования о писательской эвакуации: ташкентской и чистопольской. Книга “Все в чужое глядят окно...” была посвящена пребыванию писателей и их семей в Ташкенте и Алма-Ате, “Дальний Чистополь на Каме...” – о жизни в Чистополе и Елабуге.

Книги основывались на личных воспоминаниях и семейных архивах, что позволило поднять большой пласт частных сюжетов, вписанных в общую историю эвакуации и вызвавших большой интерес к этой теме. По книге о ташкентской эвакуации были сняты два документальных фильма.

История СССР полна самых невероятных мифов. И, конечно же, огромная доля в их создании принадлежит советским писателям, художникам и поэтам. Но за официозом газетных страниц, за лакировкой прошлого всегда можно различить подспудную, тайную жизнь, запечатленную в дневниках, письмах, устных преданиях и рассказах.

История жизни отдельного человека когда-то сложится воедино из разрозненных сюжетов, позволит увидеть неофициальное, живое лицо нашей общей истории.

Советские литераторы, режиссеры – во многом осколки прежней русской интеллигенции, оставшейся в живых после катастрофы 1930-х годов, – с началом войны испытали множество противоречивых чувств. Тут было и облегчение, и страх, и даже чувство раскаяния за вольное или невольное соучастие в государственном терроре. Кто погиб в ополчении, кто приобрел авторитет и известность, проходя тяготы войны, те же, кто оказался в эвакуации, почувствовали вдали от власти раскрепощение, вернулись к своей подлинной писательской работе.

Эвакуация была так же трагична, как и война; вывозили детей, больных, стариков; люди голодали, умирали вдали от дома. В городах и поселках, куда их привозили, было тяжело. Местные жители, лишённые средств, сами годами жившие впроголодь, теснившиеся большими семьями в уплотненных квартирах или домах, по разнарядке обязаны были подселать огромный поток беженцев в свои дома, а порой и освобождать приезжим комнаты, ютятся в углах. И все-таки как могли – помогали, кормили, селили.

Шла эвакуация детских домов, детсадов, школьников собирали в школах вместе с учителями и вывозили из города. В сентябре писательских детей из местечка Берсут на Каме перевезли в интернат Чистополя.

Чистополь, или Чистое поле, был назван в память о сожженном поселении, основанном в XVIII веке беглыми крестьянами. Солдаты по царскому указу пришли сюда и выжгли дома и постройки, сделанные руками тех, кто бежал в поисках свободы. И стало на том месте – Чистое поле. Часть слова “поль” (как в словах “Петрополь”, “Акрополь”) напоминает не об античном происхождении города, а о горькой драме, разыгравшейся на его месте. Спустя два века город вновь принял бегущих от войны и бомбежек писателей и их детей.

Чистополь – маленький провинциальный городишко, стоящий на Каме. Ряд ровных, под прямым углом расчерченных улиц с двухэтажными домиками. Как и все окрестные городки, Чистополь летом – пыльный и сухой, осенью – непролазный из-за размытых дорог, зимой – иногда до самых крыш в сугробах.

В военное лето 1941 года для одних писателей он стал перевалочным пунктом – они устраивали свои семьи и уходили на фронт, для других – почти на два года домом, для третьих – местом упокоения. Эвакуация осталась в памяти писателей очень разной.

Часто было так, что советские литераторы оказывались на войне и в эвакуации лицом к лицу со страной, которую не знали, или стали забывать, какая она на самом деле... Многие испытали шок, кто-то изменился, кто-то стал писать после войны совсем по-другому.

Цветаева, несмотря на краткий отрезок жизни в эвакуации, оставила след в памяти многих литераторов. О ней говорили, ей сострадали, сообщали в письмах о ее гибели. Некоторые литераторы прочитали ее трагедию как вызов и своей заброшенности, отсутствие опеки государства. Цветаева никогда не надеялась на подобную заботу. Многие из тех, кто оказался в Чистополе в июле-августе – а это были в основном женщины с детьми, – встретили Марину Цветаеву с сыном на пароходе или услышали о ее гибели в сентябре, когда новость долетела из Елабуги. Попутчики Цветаевой сошли в Чистополе, но так как он был переполнен, московский Литфонд рекомендовал беженцам отправляться дальше – в Елабугу. И они отправились..

Пастернак, о котором много будет рассказано в этом повествовании, оказался в Чистополе в середине октября, когда Цветаевой уже не было в живых. Это стало роковым *размино-вением* двух близких людей и поэтов, также она *разминулась* в Чистополе с Тарковским и Ахматовой, приехавшими сюда в октябре.

В отличие от большинства писателей, драматично переживавших события войны и свой исход из Москвы, Пастернак отнесся к войне и эвакуации как к новому духовному опыту. Даже в самые ужасные годы в его голосе звучала предельная откровенность и искренность. Пастернак о Чистополе говорил с нежностью как о “городке детского и писательского поселения, который благодаря этому казался посвященным детству и сосредоточенью”.

Со вторым, более мощным потоком эвакуированных писателей, принятых в октябре, когда Москва готовилась к сдаче, в Чистополе помимо Б. Пастернака, окажутся А. Фадеев, А. Арбузов, Вс. Багрицкий, В. Билль-Белоцерковский, Г. Винокур, С. Галкин, С. Гехт, А. Гладков, М. Зенкевич, Л. Леонов, В. Парнах, Д. Петровский, М. Петровых, А. Тарковский, К. Федин и многие другие... Кто-то устроит семью и уйдет на фронт, а кто-то проживет в Чистополе вплоть до лета 1943 года.

Поток эвакуированных шел в Куйбышев (Самару), Киров, Казань, Чистополь, Свердловск, Пермь (Молотов) и Ташкент. Правительственных и партийных чиновников расселяли в Куйбышеве, где уже все было готово для приема и самого вождя. В Куйбышев был отправлен МХАТ – ведущий государственный театр. В Кирове оказались московские и ленинградские драматические и оперные театры. Восток, Азия казались более безопасными. Однако чем напряженнее складывалась обстановка на фронте, тем острее ощущалось, как ослабевали нити, связывающие Среднюю Азию и Россию.

Стали слышны разговоры о том, что дальнейшее поражение на фронтах может привести к превращению Узбекистана в англо-американскую колонию. И что тогда? Как узбеки отнесутся к лавине беженцев из России? Настроение было мрачным.

В Ташкент тоже было эвакуировано множество известных людей; их горести, переживания, большие и маленькие трагедии становились достоянием всей колонии, напоминая огромную коммунальную квартиру. Жизнь на виду, порой скверная, а порой очень теплая и человечная, пронесла – как на карусели трехлетнего совместного бытования – людей благородных и трусливых, честных и мошенников. Война и эвакуация сдвинули с места многие судьбы, обнажили в людях скрытую природу. Рушились на глазах ложные репутации, возникали – подлинные. Потеря близких, любовь и измены, болезни, смерти, самоубийства, гибель на фронте – все эти реальные события во многом освободили людей от тяжелой лжи, в которой пребывала страна в конце 1930-х годов.

В далеком восточном городе, за тысячи километров от Москвы, в самом начале войны многие испытали непривычное для советских людей чувство отчужденности от страны, которая все прежнее время жестко держала их в повиновении.

Государственная машина, приводящая в движение множество деталей огромного механизма, на большой скорости вдруг стала буксовать, останавливаться, тормозить и наконец остановилась совсем. Люди оказались предоставлены сами себе. Они должны были самостоятельно

не только организовывать свою жизнь, искать кусок хлеба, но и ориентироваться в происходящем. Это давало им и чувство страха, и острое чувство свободы. Одними из первых трагическую новизну почувствовали писатели. В эвакуации они стали жить очень плотным сообществом, получали письма с фронта и из Москвы, вместе обсуждали последние известия...

Ташкент принял большое количество писателей, ученых, актеров с их семьями, разместили их в частных домах и в официальных зданиях – на улице Карла Маркса, где стояло здание Совнаркома, на Пушкинской улице, где часть ученых, писателей и актеров поселили в четырехэтажном здании управления ГУЛАГа, на Первомайской улице, расположенной по соседству, где был Союз писателей Узбекистана, и на улице Жуковской.

Здесь жили А. Толстой и К. Чуковский, его дочь Л. Чуковская, А. Ахматова, драматург И. Шток, Ф. Раневская, Н. Мандельштам, семья Луговского (поэт, его мать и сестра), Е. Булгакова, писатель В. Лидин, поэт С. Городецкий с семьей, литературоведы М. и Т. Цявловские, Д. Благой, Л. Бродский, В. Жирмунский, драматург Н. Погодин, писатели Н. Вирта, И. Лежнев, критик К. Зелинский, М. Белкина и многие другие.

Ташкент, его улицы, дома, дворы, деревья, комнаты, уголки, лестницы – это тот “сор”, из которого сложилось художественное пространство: стихи, строфы эпилога “Поэмы без героя” Ахматовой, книга исповедальных поэм “Середина века” Луговского, другие мемуарные и документальные тексты.

Жизнь эвакуации сохранилась в дневниках, в записных книжках, в поэтических строфах дневникового характера. Каждый фрагмент писем, записок, стихов раскрывает причудливую картину жизни города, его случайных обитателей, занесенных сюда ветром войны.

Большим подспорьем в создании этой книги стал сборник “Чистопольские страницы”, где история чистопольской эвакуации была представлена в документах и частично в произведениях писателей, а также богатый материал из семейных архивов Луговского (ныне архив В. Седова), Л. Голубкиной (Луговской), М. Белкиной (Тарасенковой), Л. Либединской, А. Коваленковой (Алигер).

В этой работе приводится много новых документов периода войны из архивов РГАЛИ и семейных архивов, а также устных рассказов участников событий.

Москва. Начало войны

22 июня 1941 года для большинства людей Советского Союза кончилось привычное течение времени. Жизнь пошла рывками: от одной сводки информбюро до другой, от одного объявления воздушной тревоги до другого, от ожидания фронтового треугольника до получения похоронки...

Большинство современников рассказывают, что в день начала войны не было страха, ужаса, отчаяния – напротив, многие ощутили подъем и облегчение от того, что война, о которой столько времени говорили, настала и наконец все разрешится. Правда, этот порыв испытывала по большей части молодежь – старшее поколение молчало.

Многие поэты и писатели с 23 июня были прикомандированы к фронтовым газетам и незамедлительно туда отправались.

На митинг, собравшийся в Союзе писателей, народу пришло немного. Вел его Александр Фадеев. Вспоминают, что зал был полупустой, заполненный малознакомыми людьми. Выступающие говорили напряженно. Неловкость была связана с тем, что несколько лет говорили о дружбе с Германией. Выступил какой-то старый писатель. “Мы будем его бить, бить, как карточного шулера, затесавшегося в благородное общество, – витийствует старик. – Мы будем его бить канделябрами... Фадеев смущен”¹, – писал литературный критик Борис Рунин.

Вышел Михаил Левидов, автор книги о Свифте. Он рассказал о том, чем грозит фашизм культуре. Его речь резко отличалась от казенных речей предыдущих ораторов. Она была живой и умной. В ту же ночь его арестовали. Ему предъявили обвинение в шпионаже “в пользу Великобритании, неопровержимо доказанном посещением гробницы Свифта в соборе Святого ЕЕатрика в Дублине”, за что он был приговорен к расстрелу.

В зале сидели его ученики по Литинституту (он вел семинар прозы и художественного перевода) Даниил Данин, Маргарита Алигер, Мария Белкина, Михаил Матусовский. Они вместе учились и дружили. В той же компании были Евгений Долматовский, Константин Симонов, Наталья Соколова и многие другие. Это поколение оказалось в центре войны. Мария Белкина описала начало войны и эвакуации в книге о Марине Цветаевой “Скрещение судеб”, к которой мы будем обращаться, прибежем и к ее устным рассказам.

Неожиданно оказалось, что в книге Бориса Рунина и рассказе Марии Белкиной есть пересекающиеся сюжеты. Когда митинг в Союзе писателей закончился, каждый из них, повинаясь какому-то внутреннему импульсу, отправился к немецкому посольству в Леонтьевском переулке. Это был красивый двухэтажный особняк. Белкина увидела, что перед ним стоит автомобиль с включенным мотором, а в окне посольства мечется какая-то фигура и жжет бумаги. Напротив дома стояли люди. Они приходили сюда сами, неорганизованно. Маленького роста, похожий на мальчика милиционер, охранявший посольство, бегал перед собравшимися и жалобно повторял: “Граждане, не нарушайте! Граждане, не нарушайте!” А старушка сказала: “Какой маленький, к земле пригнется, и пуля его не заметит”. Белкину поразило, что никто не кричал, не ругался. Все стояли молча и смотрели.

Туда же пошли и ее товарищи по институту:

... Вместе с Алигер и Матусовским – пошли в Леонтьевский переулок к зданию германского посольства, – писал Борис Рунин. – Не помню уже, что нас побудило туда отправиться, но один эпизод, относящийся к этому походу, запечатлелся в моей памяти.

¹ Рунин Б. *Мое окружение: Записки случайно уцелевшего*. М., 1995. С. 95.

К зданию посольства подъезжает “эмка”, и сотрудники госбезопасности насильно высаживают из нее молодую женщину, стараясь сунуть ей в руку маленький чемоданчик. Женщина же упирается и всячески норовит от чемоданчика избавиться – мол, он к ней не имеет отношения. Кончается эта немая и таинственная сцена тем, что и женщину, и чемоданчик все-таки вталкивают в дом².

Каждый увидел что-то свое. Что это означало, так и осталось непонятым.

В период больших бедствий люди, как рыбы в океане или птицы в огромной стае, начинают подчиняться неким общим знакам, которые пытаются распознать. Сначала за них они принимают голос власти, но чем дольше длится бедствие, тем очевиднее, что речь идет о каком-то общем внутреннем голосе народа.

Город начал меняться с первого дня войны. В тот же день вечером, вспоминала Белкина:

...мы с Тарасенковым поехали к его матери, она жила на 3-й Тверской-Ямской. Мы ехали в неосвещенном трамвае, кондукторша все время сморкалась и принимала деньги на ощупь и отрывала билеты на ощупь. И все почему-то говорили вполголоса... И темный трамвай несся по темным улицам, непрерывно звеня, давая знать о себе пешеходам. И не светило ни одно окно, и не горел ни один фонарь. Знакомые улицы не узнавались, и казалось, что это был не город, а макет города, мертвый макет, с пустыми, ненаселенными домами, и синие лампочки, уже ввинченные дворниками в номерные знаки на домах, еще больше подчеркивали пустынную и нереальность города и нас самих. И только назойливые трамвайные звонки, и гудки автомобилей, и резкие сигналы санитарных эвакуационных машин напоминали о том, что это не макет, не сцена, не спектакль, что это жизнь! Иная, совсем иная жизнь, к которой надо приспособляться и привыкать³.

6 июля 1941 года отбыл из Москвы первый эшелон Союза писателей в Казань, Берсут и Чистополь. Пионерлагерь и детсад Литфонда увезли из Подмосковья, многих родителей не успели предупредить, и те не знали, что их дети отправлены на Каму. Шла эвакуация детских домов, детсадов, школьников собирали в школах вместе с учителями и вывозили из города. В сентябре писательских детей из местечка Берсут на Каме перевезли в интернат Чистополя.

С первой партией писательских детей (тех, что не были в лагере), эвакуированных в начале июля, выехала Тамара Иванова, жена Всеволода Иванова. Она несколько дней провела в Моссовете, чтобы выбить два вагона, которые тут же пошли в Казань. Все решалось, как всегда, на личных договоренностях.

Тамару Иванову, жену Всеволода Иванова, звали “женщина-танк”. Эта рослая громкоголая красавица, презирающая хлюпиков, рохлей, людей, не умеющих отстаивать свои требования, была невероятно деловой и невероятно пробивной.

Если она на чем-нибудь настаивала, отказать ей было просто невозможно. Она сокрушала учреждения и людей, как самый настоящий танк⁴.

Несмотря на то, что матерям разрешалось сопровождать детей только до трех лет, она в последнюю минуту впрыгнула в отходящий поезд и уехала вместе с ними. Многие дети из-за запрета оказывались под присмотром других матерей, а у тех были собственные дети. Старшие

² Белкина М. *Скрещенье судеб*. М., 2005. С. 96–97. (Далее: Белкина.)

³ Белкина. С. 412.

⁴ Соколова Н. *Два года в Чистополе. 1941–1943*. М., 2006. С. 17. (Далее: Соколова.)

девочки и мальчики как умели опекали младших. Зинаида Пастернак, жена Бориса Пастернака, выехала с маленьким Леней и Стасиком в составе первых двухсот человек, оставив старшего больного Адика в туберкулезном санатории.

Из Москвы и Ленинграда эвакуированных направляли в основном в восточные районы страны. Большинство писателей было эвакуировано в Казань, где собирались организовать выездной Союз писателей, но так как эвакуировались семьи, то колония постепенно перебралась в Чистополь, где был интернат для детей писателей, а тем, кому не хватало места, – преимущественно в Елабугу, Набережные Челны и далее вниз по Каме.

Дети все прибывали, а персонала не было.

11 июля уходило на фронт московское ополчение, ушла и “писательская рота”. На фронт забрали тех, кого не мобилизовали в первые дни – белобилетников, освобожденных от воинской повинности по возрасту или состоянию здоровья. Шел Даниил Данин, который не мог обойтись без очков, маленький Рувим Фраерман, уже пожилой редактор “Огонька” Ефим Зозуля и многие другие – в очках с толстыми стеклами, туберкулезные, немолодые. Целое подразделение составляли писатели.

Уходили – в прямом значении этого слова: в пешем строю, по Волоколамскому шоссе, на запад, – писал Борис Рунин. – <...> Нас было примерно девяносто человек – прозаиков, поэтов, драматургов, критиков, вступивших в ополчение через оборонную комиссию Союза писателей. В одном строю шагали и уже маститые, такие как Юрий Либединский, Степан Злобин, Бела Иллеш, Рувим Фраерман, Павел Бляхин, и мало кому известные в ту пору писатели, как Александр Бек или Эммануил Казакевич⁵.

Мария Белкина, угнетенная зрелищем шествия немолодых, нездоровых ополченцев-писателей (она говорила, что там были полуслепые, больные, пожилые), влетела в Союз писателей и сказала секретарю парткома Хвалебновой, которая участвовала в формировании писательской роты, что те вряд ли выживут и что они могли бы как-нибудь по-другому выполнить долг перед родиной. Но та жестко ответила, что на фронт они пошли добровольно, и пригрозила, чтобы она следила за тем, что говорит. Мария Иосифовна была на последнем месяце беременности, и, возможно, поэтому ее не отправили куда следует.

По предположению Бориса Бунина, одного из участников писательской роты, мобилизация таких ополченцев была еще и чисткой писательских рядов, избавлением от старой интеллигенции. Что и произошло. В живых осталась только половина из ушедших тогда писателей.

⁵ Рунин Б. *Мое окружение: Записки случайно уцелевшего*. М., 1995. С. 18.

Бомбежки

Никто не ожидал, что уже через месяц немцы начнут бомбить Москву. Первые бомбежки начались в ночь с 21 на 22 июля и продолжались до осени 1942 года почти каждый день. Дом писателей в Лаврушинском переулке был своего рода “младшим братом” Дома на набережной – оба стояли на берегу Москвы-реки, переглядываясь с Кремлем. Правда, писательский дом был задвинут в переулок Замоскворечья ближе к Третьяковской галерее. Большинство писателей были соседями по дому – здесь жили в разное время: К. Паустовский, М. Пришвин, Вс. Иванов, Б. Пастернак, В. Шкловский, И. Ильф, Е. Петров, Д. Благой, М. Голодный, А. Барто, И. Уткин, С. Кирсанов, Н. Погодин, Ю. Олеша, И. Сельвинский, В. Луговской и другие. Отсюда они выехали – кто в эвакуацию, кто на фронт.

Теперь Москву бомбили каждый день, два раза в день, с чисто немецкой пунктуальностью, кажется, в двенадцать и в восемь вечера, точно уже не припомню. Все ждали этого часа, нервничали, поглядывая на часы, посматривая на “черную тарелку”, которая неумолимо объявляла: “Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!” А затем следовал утробный вой сирены. В Москве складывался особый военный быт: магазины закрывались рано, метро переставало работать в шесть-семь часов вечера, и станции и тоннели превращались в бомбоубежища. Но еще загодя тянулись к метро вереницы людей, и у входа выстраивались длинные очереди. Дети с самодельными рюкзаками за спиной, в которых лежала одежда – ведь можно было вернуться домой и не застать своего дома; матери тащили большие мешки и сумки с подушками, с одеялами, чтобы удобнее устроить на ночь детей на шпалах между рельсами. Плелись старики, кого-то катили в инвалидной коляске, даже на носилках несли. Кто-то тащил чемоданы, кто-то связки книг, мужичонка шагал с тулупом и валенками под мышкой; тулуп на шпалы, валенки под голову, с удобством устроится и на зиму сбережет⁶.

В июле 1941-го в Москве создавались группы самообороны жилых домов, учреждений и предприятий. Одна такая группа создавалась на двести – пятьсот человек населения. Если дом был большой, то такую группу должен был организовать каждый подъезд.

С 23 июля начались дежурства на крышах в писательском доме. Борис Пастернак после первого ночного дежурства 24 июля 1941 года признавался жене, уехавшей с детьми в Чистополь:

Третью ночь бомбят Москву. Первую я был в Переделкине, так же, как и последнюю, 23 на 24-е, а вчера <...> был в Москве на крыше <Лаврушинского, 17> вместе с Всеволодом Ивановым, Халтуриным и другими в пожарной охране... Сколько раз в течение прошлой ночи, когда через дом-два падали и рвались фугасы, зажигательные снаряды, как по мановенью волшебного жезла, в минуту воспаляли целые кварталы, я мысленно прощался с тобой⁷.

Эту же бомбежку описал Всеволод Иванов из окон своей квартиры:

⁶ Белкина. С. 421–422.

⁷ Пастернак Б. *Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак*. М., 1993. С. 158. (Далее: Пастернак Б. *Письма к З.Н. Пастернак*.)

И вот я видел это впервые. Сначала на юге прожектора осветили облака. Затем посыпались ракеты – осветили дом, как стол, рядом с электростанцией треснуло, – и поднялось пламя. Самолеты – серебряные, словно изнутри освещенные, – бежали в лучах прожектора, словно в раме стекла трещины. Показались пожарища – сначала рядом, затем на востоке, а вскоре запылало на западе. Загорелся какой-то склад недалеко от Дома Правительства (Дома на набережной. – *Н. Г.*) – и в 1 час приблизительно послышался треск. <...> Зарево на западе разгоралось. Ощущение было странное. Страшно не было, ибо умереть я не возражаю, но мучительное любопытство – смерти? – влекло меня на крышу. Я не мог сидеть на 9-м этаже, на лестнице возле крыши, где В. Шкловский, от нервности зевая, сидел, держа у ног собаку, в сапогах и с лопатой в руке. Падали ракеты⁸.

Сам же Шкловский тоже оставил воспоминание о тех днях:

Мы встретились на чердаке. Встретились Всеволод Иванов, и Бехер, и Уткин, и Голодный, и Борис Пастернак со спокойными глазами и каменными щеками, и много других людей. <...> Сидел я на чердаке; мне очень хотелось спать; я солдат, у меня такая привычка – при бомбежке, если я не занят, спать. У ног спала очень любящая меня маленькая белая собачка с очень плохим характером – Амка. Звонко откупориваясь, стреляли зенитки. Всеволод сказал мне:

– А вот сейчас вступим и мы в бой со своими деревянными лопатами.

Он был спокоен, круглолиц, печален.

Однажды бомба прошла через наш дом.

Небольшая.

Она пробила несколько бетонных перекрытий, подняла один потолок взрывом, но не доверху, потому что помешал шкаф. Это было в квартире Паустовского.

Когда днем Паустовский вошел в квартиру, комната была залита солнцем и полна обломками. На разбитой клетке сидела очень желтая канарейка и пела.

Пропевши песню, она упала и умерла: она переоценила свои силы.

Солнце ей дало иллюзию, что все хорошее продолжается, что больше безумного не будет.

В это время мы стали встречаться снова, и я заходил к Всеволоду, и брал у него книги, и слушал радио с плохими вестями⁹.

Паустовский переехал из разбомбленной квартиры на дачу к Федину в Переделкино, затем уехал в Чистополь, а потом в Алма-Ату.

В одну из ночей, – писал Пастернак в письме к своей двоюродной сестре, – как раз в мое дежурство, в наш дом попали две фугасные бомбы. Дом 11-этажный, с четырьмя подъездами. Разрушило пять квартир в одном из подъездов и половину надворного флигеля. Меня все эти опасности и пугали, и опьяняли¹⁰.

В начале августа был разрушен дом писателей в Лаврушинском переулке. Об этом подробно написано в воспоминаниях А. Эрлиха:

⁸ Иванов Вс. *Дневники*. М., 2002. С. 84–85.

⁹ Шкловский В. *Жили-были*. М., 1966. С. 432.

¹⁰ Пастернак Б. *Собр. соч. Т. 5. Письма*. С. 405.

Ноющий, подобно осиному гуду, стон моторов, рыскающих в недостижимой для глаз и для зенитного огня высоте, нестерпимый свист и вой тяжелых фугасок, каждая из которых, казалось, летела прямо на наши головы, удары и взрывы, так ощутимо сотрясавшие воздух, измучили нас. Двое были ушиблены воздушной волной. Один потерял от слишком длительного нервного напряжения власть над собой – зубы его неудержимо и дробно стучали, он сел возле большой бочки с заготовленной водой и, уткнувшись в нее лицом, стонал сквозь крепко сомкнутый рот. Все остальные “пожарники”-писатели оставались на своих постах. Но многие были уже так измучены, что вряд ли годились в дело. Необходимо было свежее подкрепление. Петров спустился в бомбоубежище подобрать там в помощь человек семь-восемь. Вскоре он вернулся с подкреплением. Но, как это часто бывает во время налетов, вдруг наступила глубокая тишина. Молчали зенитки, не слышно было больше ни гула, ни свиста, ни разрывов. Мы снова видели над собой мирные, спокойно помигивающие звезды. Может быть, с минуты на минуту по радио объявят долгожданный отбой? <...> По-прежнему было тихо над ночной Москвой. Я отправился на девятый этаж, где всегда в часы налета были открыты обе квартиры, расположенные друг против друга на площадке. Длинные пожарные шланги были привинчены к водопроводным кранам в этих квартирах. Надо было проверить, в порядке ли трубы, не откажет ли водоснабжение в случае необходимости.

В одной квартире жил знаменитый немецкий писатель-антифашист Эрих Вайнерт. Еще издали, с площадки, я увидел его в глубине квартиры – он не спустился в тот вечер в бомбоубежище, – я спросил по-немецки, есть ли вода в системе? Вайнерт ответил, что есть. Другая квартира – К. Г. Паустовского – пустовала: сам писатель находился на Южном фронте корреспондентом от ТАСС, а семья была эвакуирована в Чистополь. <... >

Вскоре мы уже хорошо знали, какие беды наделали две фугаски, почти одновременно сброшенные над нами. Одна угодила в самый дом и, пробив по пути два железобетонных перекрытия, разорвалась на пятом этаже... Изуродованная, дымилась щебнем и пылью квартира Паустовского. Такие же разрушения видели мы и в квартирах ниже по этажам, от девятого до пятого включительно. В одной из них разрывом полутонной бомбы снесена была капитальная стена, за зубчатыми остатками которой открылась смежная, из соседнего подъезда, квартира писателя Л. Никулина.

Вторая бомба разорвалась во дворе, причинив еще больше бед: осколками ее были убиты наповал трое и тяжело ранены четверо дежурных из соседнего дома.

Весь двор был засыпан мельчайшими осколками стекол, вылетевших из всех прилегающих окон.

Над городом снова ныли в незримой высоте реюющие самолеты, и опять падали с возрастающими, душу ледящими свистом и гулом тяжелые бомбы. Началась новая волна налета¹¹.

В неопубликованной поэме Луговского “Москва. Бомбардировочные ночи” – картина тех дней.

¹¹ Эрлих. А. *Нас учила жизнь: Литературные воспоминания*. М., 1960. С. 179–182.

На крышу вызывают командира
Посреди летающих ракет,
Трассирующих пуль и пулеметов
Стоят, раздвинув ночь, прожектора,
Какой простор, какие песни неба!
То вспыхивает, то замрет Москва.
И зажигалки малые, расплавясь,
Текут, белея, по железным крышам.
Кругом меня стоит веселый ад,
Тот фейерверк блистающей природы,
Та вспышка непонятных, мертвых сил.
Пронзающие ночь, бегут ракеты.
Коричневое облако разрыва
Подкидывает ночь. И язычки
Паршивые снуют по сизым крышам.
Отсюда видно все. Лежит Москва,
Безмолвная, зенитками одета,
Кольшутся и потухают зданья,
Неведомые отсветы играют
На затемненных крышах в чехарду.

В первые же дни войны НКВД принимает решение – маскировать здание Кремля. Один из вариантов предполагал “имитирующую окраску кремлевских зданий, уничтожение блеска позолоченных глав кремлевских соборов, снятие крестов и имитация окраской и присыпкой на площади вокруг Кремля городских кварталов”¹².

Немцы, когда бомбили Москву, пытались попасть в Кремль, поэтому много разрушений было именно в центре города. Возле Никитских ворот от удара бомбы образовалась огромная воронка, а памятнику Тимирязеву оторвало голову; нашли ее только через несколько дней на крыше возле Арбатской площади. Был разбит дом на Воровского, образующий угол с Мерзляковским переулком, где тогда находилась аптека. Считалось по теории вероятности, что дважды в одно и то же место снаряд попасть не может, однако через несколько дней в остатки аптеки снова попала бомба. Был разрушен Вахтанговский театр, а дежуривший ночью артист Куза был убит... В разбомбленных домах обнажились квартиры, стали видны кровати, диваны, картины на стенах.

Пока еще была надежда, что война протянется недолго, многие писатели, спасаясь от бомбежек, жили в Переделкино.

¹² *Лубянка в дни битвы за Москву: По рассекреченным документам ФСБ РФ.* М., 2002. С. 32.

Цветаева. Попытка отъезда

У многих людей дома почти целиком разрушены, – пишет в дневнике Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой. – 9 часов вечера 28 июля 1941 года. Ложусь (если сегодня ночью будут Москву бомбить, я по крайней мере немного посплю). В данный момент мы никуда не уезжаем, несмотря на ужас матери от моей службы пожарником на чердаке дома (очень опасной – чтобы тушить бомбы). Мне наплевать. Меня не отпускают в Казань (матери дали разрешение, но она без меня не едет), потому что мне 16 лет и я “годен к работе”. Посмотрим, что будет, но пока мы никуда не едем. Уезжают дети, больные, старики, матери, а мы не входим ни в одну из этих категорий. Мне наплевать на то, чтобы оставаться в Москве. Мать дрейфит из-за меня на крыше¹³.

Цветаева металась, пытаясь спрятать взрослого сына от опасностей, но понимала, что это только отсрочка. Казалось, что за городом безопасней; они выехали на некоторое время на дачу к Кочетковым в Пески. Там жили пожилая поэтесса Вера Меркурьева, еще какие-то старые женщины, которые вели разговоры о пропавшей кошке, вспоминали о кошках, отравленных в Гражданскую войну. Мур с отвращением слушал, называя их в дневнике старыми идиотками. Запахи старости и кошек для него смешиваются воедино. Он хочет вырваться к молодым, ясным, здоровым людям. Мать для него воплощает то же прошлое, что и старухи на даче. Наступали страшные времена, когда о животных думать было неприлично. Многим было невыносимо смотреть им в глаза и понимать, что их придется бросить или уморить голодом. Для Мура все эти мысли из области распада и разложения.

Цветаева через Литфонд пыталась пристроиться к эвакуированным, которые выезжали 25 или 27 июля в Чистополь. Мур боялся, что может оказаться среди маленьких детей единственным шестнадцатилетним. Но их в эшелон не включили, поехали только инвалиды и матери с маленькими детьми.

Теперь Цветаева каждый день ходила в Литфонд, чтобы получить возможность как-то покинуть город. Создавались все новые и новые группы эвакуированных, женщины с детьми рвались подальше от Москвы.

26 июля Мур раздраженно пишет в дневнике:

Попомню я русскую интеллигенцию <...>! Более неорганизованных, пугливых, несурзных, бегающих людей нигде и никогда не видал. Литфонд – сплошной карусель не совершившихся отъездов, отменяемых планов, приказов ЦК, разговоров с Панферовым и Асеевым и Фединым. Все это дает ощущение бреда. Каковы же все-таки последние новости нашего несчастного отъезда? Как будто опять начинает сколачиваться группа писателей, для которой сейчас ищут место эвакуации – не то Тамбов, не то Марийскую АССР, не то опять Татарию. Что-то такое в этом роде намечается – для тех, кто не уехал в Чистополь. Но даже если что-нибудь выйдет с образованием этой группы, если найдут место и сговорятся с местными властями, еще совершенно неизвестно, удастся ли нам попасть в эту группу или нет¹⁴.

¹³ Эфрон Г. *Дневники. В 2-х тт. Т. 1.* М., 2004. С. 478.

¹⁴ Эфрон Г. Т. 1. С. 475.

Счет к интеллигенции – по его мнению, это мечущиеся советские писатели – он будет предъявлять и в Елабуге, и в Чистополе, и в Ташкенте. Мур пройдет все круги писательской эвакуации, сохраняя свой насмешливый, отстраненный, злой взгляд на людей. Мальчик, выросший в атмосфере почитания интеллигенции, которая была в крови отца, матери, старшей сестры, всю свою небольшую жизнь внутренне оспаривает аргументы родителей. Он видит в писательском круге ту же обывательскую среду, которая так раздражала родителей во французской буржуазной публике. Наверняка он не мог отказать себе в удовольствии лишний раз уколоть этим мать.

В те дни он отмечает, что Москва разделилась на два лагеря: кто боялся бомбежек и кто их не боялся.

Лидия Либединская тоже ездила на дачу во Внуково с полугодовалой девочкой. Она рассказывала, что вскоре они с мамой и бабушкой перестали спускаться в убежище, хотя однажды на ее глазах от бомбы рухнул дом на Полянке. Ее тоже включили в списки эвакуированных; мать собрала теплые вещи, и Лидия с ребенком должна была плыть тем же пароходом, что и Цветаева. Но 18 июля с фронта привезли ее жениха, Ивана Бруни, с тяжелым ранением бедра. Это и решило ее судьбу; она устроилась в госпиталь, чтобы ухаживать за ним.

Москва-река Кама 8 августа

8 августа Борис Пастернак вместе с Виктором Боковым (он отправлял вещи для своей семьи) провожали пароход, отправляющийся с Речного вокзала, на котором была Цветаева с Муром. По слухам, этот пароход был организован стараниями той же Тамары Ивановой через Литфонд для родственников Всеволода Иванова, его сестры и тещи.

Лидия Либединская рассказывала, что она тоже была на пристани и провожала Цветаеву вместе с Львом Александровичем Бруни. Она вспоминала, что из знакомых там оказался и Илья Эренбург. Она настаивала, что Оренбург был точно. Сама ушла раньше, так как торопилась в госпиталь. А Лев Бруни сказал ей, что поедет домой на машине Оренбурга.

Цветаева уезжала из Москвы, преодолевая сопротивление Мура. При полной собственной растерянности, непонимании, как поступить, положение усугублялось раздражением сына, уставшего от смены решений, от ее неуверенности. Пароход “Александр Пирогов” был старый, шел медленно. “Мы спим сидя, темно, вонь, – пишет в дневниках Мур, – но не стоит заботиться о комфорте – комфорт не русский продукт”¹⁵. Но его утешало наличие сверстников. Тот факт, что он не один взрослый мальчик, который отправляется в эвакуацию с женщинами, инвалидами и малыми детьми, успокаивал его. Рядом оказался Вадим Сикорский, сын поэтессы-переводчицы Татьяны Сикорской, и Александр Соколовский, сын детской писательницы Нины Саконской. Соколовский, хотя и окончил семь классов, был ровесником Мура. Тот писал о нем как о человеке культурном, разбирающемся в музыке. Вадим Сикорский был намного старше обоих мальчиков, ему было уже девятнадцать. Он учился в Литинституте, любил литературу, писал стихи. Мальчики подружились и время на пароходе проводили вместе.

Вместе они окажутся и в Елабуге. У каждого из подростков – трудные отношения с матерями, их силой вывозят из Москвы. Это же, видимо, объединило и трех матерей в Елабуге.

Берта Михайловна Горелик, жена писателя и журналиста Иосифа Горелика¹⁶, была хирургом, а потому военнообязанной. 8 августа она оказалась в числе тех, кто плыл на пароходе вместе с Мариной Цветаевой и ее сыном. Отправив маленького, четырехлетнего, сына в Берсут, через месяц решила забрать его в Москву.

Не знаю, как я вообще это пережила. Муж каждый день в Литфонд звонит, справляется, где они. Никто не отвечает, куда отвезли детей, говорили, разбомбили детский поезд, и когда я, наконец, узнала, что дети приехали в Чистополь, то пошла в военкомат и попросила дать мне две недели, чтобы забрать ребенка. Мне говорят, что бомбят Москву, все увозят детей. Я хочу его забрать. Муж узнал, что пароход идет в Чистополь.

23 июня 1941 года ей необходимо было явиться в часть к 5 часам утра.

В пять часов мальчик еще спал, – рассказывала Берта Михайловна, – моя приятельница осталась у меня ночевать, я должна была все узнать, как меня мобилизуют, я была капитаном медицинской службы. Ни свет ни заря я примчалась туда, где моя часть. Это оказалась школа, вышел сторож:

¹⁵ Эфрон Г. Т. 1. С. 404.

¹⁶ Иосиф Горелик начал работать в “Известиях”, когда главным редактором был Бухарин, тогда же, как рассказывала Берта Михайловна, он познакомил ее со своей молодой женой. – Барышня, – говорил он, – вы не знакомы с моей женой? Очаровательная женщина. Был остроумный, веселый. В то время входили в моду танго и фокстрот, он как-то пошутил: «Я думал, такое только ночью делают, оказывается, можно и днем». Когда пошли аресты, ее муж приходил с работы мрачный: – Ты знаешь, у нас каждый день на собрании все каются, а мне не в чем себя обвинить. Они жили на даче между Удельной и Отдыхом; там находился поселок «Известий». И каждый день забирали, из того домика, из того...» (Устные рассказы Б. Горелик. Архив автора.)

– Что, милая, пришла-то?

Я говорю:

– Вот моя часть...

– Да она уехала в три часа ночи.

– Как уехала?

– Да так, уехала.

Я говорю: как же мне быть? Ведь скажут, что я дезертировала. Меня обуял ужас. Я стала его просить подписать бумагу, что была здесь.

– Я сторож, что я могу подписывать? Идите в военкомат.

В пять утра ни живая ни мертвая пришла домой, была счастлива, что вернулась еще раз к ребенку. Он меня увидел и закричал:

– Мапочка, ты уже не едешь на фронт, тебя не убьют!

Моя приятельница принесла мне булку, тогда она называлась французской, и огурец – в повестке было написано взять с собой питание. Дома у меня ничего не было...

Иду в военкомат, он с девяти часов работает. Меня приняли абсолютно спокойно, понимали, что идет этот чертов бедлам. Они мне говорят: идите и работайте, когда понадобится, вызовем.

Была такая растерянность, люди не знали, что делать, бегали, магазины уже были пустые, все расхватили... Я все время боялась за ребенка, ведь бомбили каждый день. Ночью вставали и таскали его в убежище, а на каждого входившего мужчину он кричал: “Это Гитлер?”

И вот как-то пришел муж и сказал, что эвакуируют писательский детский сад. И предложил мне отправить его вместе с другими детьми. Я согласилась.

А когда отправляла, то буквально отдирала от себя, уже тогда поняла, что совершила чудовищную вещь. Пришла домой и сказала мужу: что же мы наделали!

Там ехали женщины с детьми, были мамы рядом, а мой – один. Он так кричал:

– Я буду ходить в бомбоубежище, мамочка, не отдавай меня!

Берта Горелик вспоминала:

12 дней мы не ехали, а стояли. Как бомбят, мы останавливались. Дамы поважнее сидели в каютах, а мы на палубе. Цветаева была с сыном. Я ее увидела, кажется, дня через два. Подошла к ней жена Вилли Бределя – антифашиста, она мне ее представила. Говорили друг с другом по-немецки. Почему-то Бредельша ко мне сразу расположилась, стала рассказывать про свои болезни. Она представила мне Цветаеву. Та была бледная, серого цвета, волосы бесцветные с проседью уже. Она была с такой тоской в глазах... Вообще ее жизнь я узнала только тогда, когда мы приехали в Чистополь.

В 20-х числах августа они встретятся – жена Бределя, Берта Михайловна и Цветаева, когда она приедет хлопотать в Литфонд о возможности жить и работать в Чистополе.

Из рассказа видно, что Цветаева оказалась среди общего горя, которое уравнивало всех в беде. Но было одно существенное отличие: все умели включаться в советскую систему отношений, а она – нет.

Когда мы ехали, она узнала, что я врач, – вспоминала Берта Горелик об их коротком разговоре на пароходе. – “Вы не могли бы меня взять посудомойкой, я могу и полы мыть”. Я ей говорю: ваше дело – писать стихи. Я же ничего не знала о ней. Знала то, что, существует такая писательница,

что эмигрировала, но дальнейшая ее судьба мне была неизвестна. Она мне ответила: “Кому теперь нужны мои стихи?” Я ей сказала: “Вы знаете, я, конечно, с удовольствием вас возьму, но я же еду всего на две недели”.

Главные разговоры на пароходе: где жить и на что жить. Из разговоров становилось понятно, что у всех есть какая-то поддержка от родственников, деньги, которые везут с собой. Цветаева – в растерянности. Страх, что нельзя будет найти работу, овладевает ею все больше.

Мур рассуждает в дневнике о возможности устроиться:

В Казани есть поэтесса-переводчица М. Алигер, которая наверняка знает о замечательной репутации матери. (Может быть, наоборот, она не поможет нам устроиться в Казани, опасаясь сильной конкуренции в области переводов)¹⁷.

Судя по всему, место переводчицы ими подробно обсуждалось, и даже было отправлено письмо в Казань в Союз писателей Татарии.

В Горьком пересели на “Советскую Чувашию”. И пароход двинулся дальше.

И все-таки в те дни вряд ли кто-то обращал внимание на невысокую седую женщину. Она терялась среди огромного людского моря, которое волнами устремлялось в стороны от Москвы.

¹⁷ Эфрон Г. Т. 1. С. 492. Спустя годы Маргарита Алигер, возможно, ознакомившись с дневниковой записью Мура (она близко знала Ариадну Эфрон), писала о Цветаевой в воспоминаниях “Тропинка во ржи”: “Я запомнила городок Елабугу между Чистополем и Челнами, на противоположном берегу. Туда, я знала, тоже отправили несколько писательских семей и в их числе – знала я тогда об этом или нет? – Марину Ивановну Цветаеву с сыном. Стоял конец августа, ясный и синий, – можно бы задержаться, сойти в Елабуге, отыскать там живую Марину Цветаеву, что-нибудь сказать ей такое, что помогло бы ей поверить, помедлить, подождать, понадеяться... Можно ли было? Думаю, да. Думаю, это всегда можно. Думаю, всем нам много раз удавалось, хотя мы, может быть, и сами о том не знали, удержать, остановить, отвести от другого страшную минуту. И этим другим – от нас. А тут вот не удалось”.

Чистополь. Елабуга. 6 июля – 18 августа

Чистополь наполнялся эвакуированными с начала июля 1941 года. Приплывали по Каме.

Перед нами – крутой берег, – писала одна из эвакуированных. – Вверх идет дорога, по которой предстоит подняться в город – старинный, в прошлом – купеческий, с собором, лабазами, толстостенными жилищами, выбеленными до голубизны, крытым рынком, городским садом, мебельной и трикотажной фабриками, двухэтажными домами – в центре и одноэтажными, в три оконца, с палисадниками и крылечками, нарядными и попроще, приветливыми и угрюмыми – на всех остальных улицах, разбегавшихся вправо и влево от улицы Володарского¹⁸.

Уезжавшие в самом начале июля прибыли сначала в Казань. Там на первых беженцев смотрели с сочувствием и удивлением.

В Чистополь эвакуировали московский часовой завод, который стал производить военную продукцию. Население росло с фантастической быстротой. Люди питались в основном продуктами с рынка. Нашествие эвакуированных привело к тому, что цены взлетели во много раз, – это не могло не раздражать местных жителей.

Мы, приехав в июле-августе 41-го, – писала Наталья Соколова, – еще увидели докарточные пустоватые продуктовые магазины примерно в том виде, в каком они были до объявления войны (потом они превратились в распределители). Белый хлеб выпекали не каждый день, иногда неделями шел один черный, к этому в городе привыкли. Мяса в магазинах до войны почти не было, если было – одни кости. Дефицитов вообще в тридцатых хватало. Самым главным дефицитом являлся сахар, его не “выкидывали” на прилавки годами (да, да, не месяцами, а годами!). Детям был неизвестен вкус сахара, выручал мед. Здешние женщины позднее нам говорили: “Мы сахар увидели в войну, по карточкам. Пусть немного, но дают, великое дело”¹⁹.

Берта Горелик говорила, что некоторые писательские жены вообще потеряли чувство реальности. Многие просто не понимали, куда приехали, половина из них потом бежала в Ташкент. Но в первые месяцы эвакуации они скупали на рынке все, что можно. Из Москвы везли большие суммы денег, которые не снились местным жителям. Для некоторых не было предела, не останавливали никакие цены. Бочками скупали мед. Бывало так, что их даже избивали.

К началу августа детский лагерь в Берсуте был переполнен. Лидия Чуковская, оказавшаяся здесь в июле, уже не смогла пристроить туда детей; на это рассчитывала: там кормили. Она писала родителям в Москву: “Сейчас живем в общежитии, по 12 человек в комнате...”²⁰

¹⁸ Дзюбинская О. *Город сердца моего... // Чистопольские страницы. Стихи, рассказы, повести, дневники, письма, воспоминания.* Казань, 1987. С. 166–167.

¹⁹ Соколова. С. 127.

²⁰ Чуковский К., Чуковская Л. *Переписка. 1912–1969.* М., 2003. С. 295. Кроме того, в этом же письме Л. К. жаловалась на условия, связанные с обустройством детей в лагере: “Пока дела идут так... В Берсут детей не принимают. Обещают взять, когда перевезут тамошних сюда. Но у меня на руках нет документа об уплате денег, и его надо прислать мне возможно скорее. Все, что касается жизни детей в Берсуте, – совершенно законспирировано. Матери, приехавшие сюда с нашим эшеленом, до сих пор не попали к детям и попадут недели через 3. Там кто-то сильно болен, но кто и чем – тайна. Тут всем распоряжается *Косачевская*, особа фантастически грубая (по рассказам матерей). Ходят слухи, что в детском саду там хорошо (у Фани Петровны), а в лагере для старших – худо. На даче холод, и дети без конца болеют гриппом, ангиной, кашляют и т. д. Чистополь и Берсут – малярийное место. Сюда необходимо прислать хинин и акрихинин”.

Хозяева плохо берут женщин с детьми. Кроме того, хозяева смотрят и на то, как устроены эвакуированные, чтобы воспользоваться их дровами или даже частью пайка. Такие, как Чуковская, были “неперспективны”.

“Комнаты и особенно дрова здесь очень дороги, а зимою будут морозы сорокаградусные, с ветром. Все пытаются раздобыть работу, но ни педагогам, ни литераторам здесь работы не найти; требуются шоферы, вязальщицы снопов и подавальщицы”²¹, – писала Лидия Корнеевна. Для горсовета такой наплыв эвакуированных стал полной неожиданностью.

Получалось, что одни могли работать в музее, на радио или в газете, а другие искали возможность устроиться в столовую. В колхозе, который находился на краю города, собирали турнепс. За эту работу не платили, но кормили гороховым супом.

Забытый драматург Николай Глебович Виноградов-Мамонт, приплывший в Чистополь 6 августа на пароходе, вел подробный дневник, который позволяет восстановить быт эвакуированных в городке до начала 1942 года. Так как детей у них с женой не было, их приезд и поиск жилья несколько отличался от тягот Лидии Чуковской. Виноградов-Мамонт пишет о своих скитаниях:

7 августа <... > по дороге в гостиницу я заходил почти в каждый дом в поисках комнаты. Жалкие лачуги, крохотные комнатки – и все проходные! <... > Зашел я в райком ВКП(б). Зав<едующий> агит<ацией> проп<агандой> Шильников приветливо встретил, обещал дать лекции и позвонить Тверяковой о комнате. <...> На обратном пути мы встретили Б <илля>-Белоцерковского. Он в унынии, ибо безнадежно болен <...>. Вернулись в номер – и вдруг запыхало небо от грозных молний. Громоу раскат – и хлынул дождь... Чистополь нам нравится. Свежий, легкий воздух, напоенный запахами трав, умиротворяющая тишина, синее, суровое небо, красавица Кама, – как это необычно для нас, проживших безвыездно в шумной Москве столько лет. Мы мечтали о природе – и вот она, природа!²²

“Безнадежно больной” драматург Билль-Белоцерковский доживет до 1970-х годов. Его сын Вадим Белоцерковский, попавший в Чистополь подростком, писал в воспоминаниях, что отец был возмущен, как и многие другие писатели, развитием войны, которое грозило полной катастрофой стране.

Жизнь в глухой провинции потрясала своей примитивностью и неустроенностью. Тогда я впервые осознал, что Москва по сравнению с остальной страной – иное государство, неизмеримо более цивилизованное и благополучное. В Чистополе мы попали в XIX век, если не дальше. Старые деревянные осевшие в землю дома царских времен, неасфальтированные грязные улицы, отсутствие машин, водопровода, канализации. За водой мне приходилось ходить с ведрами и коромыслом к колодцу за несколько кварталов от дома в любую погоду, да еще обратно дорога шла в гору, зимой – часто обледенелая. Электрический свет давали только на несколько часов в сутки и с частыми перебоями. Не было и керосина. Освещались самодельными масляными коптилками: баночка или бутылка с грубым растительным маслом (которым каша сдабривалась) и фитиль из веревки. Спичек не было, огонь добывали древним способом: с помощью зазубренной железки – кресала,

²¹ Там же. С. 296.

²² Виноградов-Мамонт Н. *[Из дневника \ // Чистопольские страницы. С.107–108.*

кремня и трута (жженой тряпки). Чиркали железкой по кремню, искры падали на трут, он начинал тлеть, и его раздували до огня²³.

Вернемся к хронике Виноградова-Мамонта, она позволяет увидеть ту жизнь непосредственно.

8 августа. Пятница <... > Зайдя в горсовет, узнали, что нам предоставляют комнату на Октябрьской ул., 54. Приходим – комната в 4 метра! Но изолированная. Взглянули на хозяев: учитель Афанасьев – коммунист, жена его, мальчик 13 лет и девочка 15 лет. Хозяева понравились... Предгорсовета Тверякова дала мне лошадь, и мы перебрались из гостиницы на новое логово <...>. Хозяева пригласили нас пить чай, то есть воду горячую из самовара. Мы беседовали”²⁴.

Многие были уверены, что до зимы вернутся в Москву. Виноградову-Мамонту очень повезло – его взяли директором в местный музей. В те дни, когда пароход с Цветаевой и Муром приближался к берегам Чистополя, этот странный человек писал в дневнике:

14 августа. Выяснилось, что директора музея нет, – у меня появилось желание получить это место. Боже! Нежели мне придется служить – мне, свободному гражданину, поэту, проводившему свое время за письменным столом <...>.

16 августа. Суббота. <...> В 9 ч. был в РОНО. Познакомили меня с науч<ным> сотрудником музея Г. И. Кудрявцевым и назначили директором музея.

Итак, я – музейный работник с окладом в 450 руб. <... > При музее старинная историческая библиотека. Порылся в библиотеке и возрадовался. Есть “История” С.М. Соловьева, Лависс, Рамес – много ценных и важных редкостных книг!

То-то будет раздолье – сидеть и читать²⁵.

10 августа в Парке культуры писатели провели первый вечер встречи эвакуированных с местными жителями, прошел концерт с выступлением разных знаменитостей. Были Асеев, Исаковский, Тренев, мать и сестры Маяковского.

Виноградов-Мамонт вел вечер, а после него повздорил с А. Степановой; он едко пишет о своих впечатлениях от выступлений коллег. “Поэты произвели на меня, как обычно, мелкое впечатление – и мелкими дарованиями, и невежеством. Это поденщина, а не художники. Асеев – выше других. Но нет взлета вдохновения. Он – раб Маяковского, благоговейно служащий своему господину!”²⁶

К середине августа жить в Чистополе уже было практически негде, все было занято. Однако поразительнее всего то, что, когда на город будет наплыв октябрьских беженцев, им каким-то образом найдут место в переполненном Чистополе.

Галина Алперс, жена театрального критика Бориса Алперса, плывшая на том же пароходе, что и Цветаева, писала, что их с матерью на берег выпускать не хотели, но она сказала, что в Чистополе находится ее сестра (так называла она свою подругу) Елену Санникову и они будут жить у нее.

На пристани всех встречал поэт и переводчик Сергей Обрадович. Было это 17 августа.

²³ Белоцерковский В. *Путешествие в будущее и обратно*. М., 2003. С. 48.

²⁴ Виноградов-Мамонт Н. *[Из дневника]*. С. 108.

²⁵ Там же. С. 110.

²⁶ РГАЛИ. Ф. 2542. Оп. 3. Ед. хр. 37.

Рассказ Берты Горелик. Чистополь – Берсут

Берте Горелик удалось выйти в Чистополе.

В городе на пристань пришел поэт Обрадович и сказал, что на берег выходят только теща Всеволода Иванова и жены членов Союза писателей.

Я заплакала, ведь я приехала за ребенком. Но все-таки подошла к нему.

– Я на берег выхожу, вероятно, не запрещенный мне берег, я приехала за сыном и дальше никуда не поеду.

Там была моя приятельница, она с мужем уехала раньше. Много писателей стояло. Асеев, писатели с женами. Моя подруга кинулась ко мне, а я говорю:

– Я приехала за Игорьком.

Но мне сказали, что все дети в Берсуге.

– А что это такое? – спросила я.

– Это дачное место.

Она мне объяснила, что здесь живет председатель горсовета, молодая чудесная женщина. Надо к ней зайти. В это время Елизавета Эмильевна, жена Бредедя, кинулась ко мне.

– Я хочу с вами, где вы будете жить?

Я снова ей говорю, что приехала взять сына. Но она уже ко мне привязалась. Тогда я ей сказала, что иду к председательнице.

Зашла, у меня уже полные глаза слез, настроение кошмарное. А она запирает дверь. Я ее спрашиваю: зачем дверь запираете? Она мне отвечает, что у нее забрали последнего врача. В городе – ни одного. Я ей говорю, что все напрасно, я приехала не жить здесь, а забрать своего ребенка.

Она посмотрела на меня, улыбнулась и говорит:

– Ну, тогда я открою глаза. Сколько лет вашему ребенку?

– Четыре года.

– В Москву без пропусков не пускают, а вы ехали 12 дней.

Я ни газет, ничего не видела.

– Матерей, – говорит она, – имеющих детей до семи лет, на фронт не берут, а только используют в тылу, и поэтому вы уехать не можете. Вы мне нужны здесь. Больница без врачей, поликлиника без врачей, самострелы без врачей. В общем, кошмар. Я вас устрою. Не волнуйтесь. Я поняла, что положение серьезное.

Тогда я вспомнила, что Бредедына просила меня за себя, и сказала:

– Вот эта женщина, я ее даже толком не знаю, я с ней познакомилась на пароходе, мне известны передачи ее мужа Вилли Бредедя – антифашиста, а лично я ее не знаю.

– Я вас устрою к одной женщине, – сказала начальница, – она получила похоронку, у нее трое детей.

– Но я не знаю, как я могу здесь остаться, ведь меня военкомат отпустил только на две недели, я же военнообязанная, а здесь госпиталей нет.

– Завтра пойдите в военкомат, встаньте на учет, военкоматы есть везде. Вам паяк дадут, – объясняет мне она.

– Мне не до пайка, ребенка надо увидеть.

Начальница при мне позвонила какой-то женщине.

– Ее надо устроить к Нюре, еще с одной женщиной. У нее ничего нет.

Я с чемоданчиком, сама в носочках, в костюме. Ни вещей, ничего, ни белья, ни теплого пальто. Поехала на две недели за ребенком. Думала, возьму и вернусь. Ну, в общем, я там застряла.

Я работала. Первый больной ко мне поступил – ему лошадь копытом размозжила лицо. Это было месиво.

На следующий день утром в шесть часов утра помчалась на пристань. В девять зашла во двор, столы с грязной посудой, жара, летают синие мухи, и вдруг из дома выбегает женщина с криком:

– Как вы сюда попали! Инфекцию, заразу принесли.

Я ей спокойно отвечаю:

– Зараза на ваших столах. Посмотрите. Ведь мухи у вас, грязная посуда.

Вы на меня не кричите, я врач, я приехала сюда за ребенком.

– Дети еще спят! – кричит она. – Они еще не завтракали. Я сама была как помешанная, хотя и молодая, энергичная, но попала куда-то между войной и ребенком. Мне вывели моего ребенка. Жара была страшная. Он стоял передо мной в пижаме. Из всех вещей у него один костюмчик летний остался. Все разворовали. По его стриженной головке ползали вши. Когда его вывели, он неуверенно меня спросил:

– Мамочка? – Он меня не узнал.

– Сынок, дорогой, – заплакала я.

Он мне говорит:

– Мамочка, ты не уедешь?! Ты меня не оставишь? Ты меня заберешь?

– Да, я тебя заберу.

В течение всего дня, пока я его вечером не уложила, он держал меня за руку.

Я начала работать с первого же дня. Утром обход, больница, потом прием в поликлинике, так как врачей нет. Потом – комиссия по трудфронту, я говорила, что надо было всех писательских жен освободить, так как они были ни к чему не пригодны, не привыкли без домработниц одеваться, не знали, как вымыться; грязные, неприспособленные. Жили сначала в школе, а вода была на улице. Ходили по чистопольской грязи в туфлях на высоких каблуках. В комиссии фельдшер сказал:

– Вы уже всех подряд освобождаете.

Я отвечаю:

– Да, они ничего не могут с маникюром в полях. Если послать их на трудфронт, то они там заболеют и умрут. Они просто не понимали, куда приехали.

А работать приходилось день и ночь. Самострелы. Острые заболевания, трудфронт, больница. Но потом, через очень короткое время, приехала жена Исаковского, она была терапевт, и сразу стала помогать.

Жили мы у простой женщины Нюры, которая приняла меня и Бредель. Как-то она сказала про Бредельну:

– Она жидовка.

– Да это я жидовка, Нюр, а не она.

– Нет, ты работяга, – говорит она...

Тот человек, которому я зашила лицо, принес мне поросенка. Он ввалился с ним прямо в кабинет, я кричала ужасно:

– Вы с ума сошли! Поросенок! Негигиенично.

И выгнала его.

Пришла вечером домой, Нюра говорит мне:

– Вот поросеночка принесли! Это хабар. Ты работаешь как вол.

Меня военкомат снабжал, и я кормила ее семью, детей. Одной восемь, другим десять и двенадцать. Замечательные девочки, работающие, я приносила еду и все, что мне давали.

Сына забирала к себе, кормила. А Бредельна брала мальчика, но никогда его не кормила. Она ела, а он смотрел ей в рот:

– Иди, руки мой.

Он моет руки.

А она ему:

– Грязно, поди мой еще.

И все. И не кормит.

Я говорю:

– Почему вы его не кормите, он же бледный, худой. В интернате же воруют, детям мало что достается.

Она мне отвечает:

– Вы русские, у вас всегда беспорядок, а у нас, немцев, – дисциплина. Он пусть там ест, а дома ему не положено.

Я говорю мальчику шепотом:

– Ты приходи, когда мама стоит в очереди за газетами.

Она больше ничего делать не умела, вязала и газеты читала. Первое время я за ней ухаживала, она говорила, что она больна. Ей было сорок лет, и я думала, что она уже старая. Кормила, чтоб ее поддерживать. А потом поняла, что не надо, с какой стати.

Я ей как-то сказала:

– Если антифашисты такие, то какие же фашисты!

Тем, кто был вместе с детьми, повезло больше. С начала июля в Берсуте работала Зинаида Пастернак. Гедда Шор, дочь музыканта Александра Шора, была в старшей группе в детском лагере.

До осени мы жили в Берсуте, – вспоминала она, – замечательно красивом месте на берегу Камы, в санатории с несколькими небольшими корпусами. Одновременно с нами приехали в Берсут жены писателей с маленькими детьми. Я была совершенно ошеломлена, узнав, что среди малышей – четырехлетний Ленечка Пастернак. Таскала его на руках, играла с ним и мечтала, чтобы он достался мне: дело в том, что нас, старших девочек, “прикрепляли” к матерям с малышами в качестве помощниц – нянек. Мечтала я о Ленечке, конечно, втайне, и он мне не достался...

Достались мне братья Ардовы: маленький трогательный Боря и пятилетний большеглазый Миша. Их мать, Нина Антоновна Ольшевская, вскоре полностью завоевала мое сердце²⁷.

Елена Левина, дочь писателя Бориса Левина, вспоминала:

Нас долго расселяли, переводили из палаты в палату, но в конце концов я стала жить с Таней Беленькой, Эрой Росиной и Лялей Маркиш. Таню и Эру я знала давно, еще по пионерлагерю, а вот Ляля приехала из Киева. Она любила рисовать. У Эры в ноябре погибнут папа и мама, защищая Москву. Тогда,

²⁷ Шор Г. *Война, семья, эвакуация. Из воспоминаний о Чистополе (1941–1943)* // *Грани*. 1998. № 188. С. 192–193.

летом, этого невозможно было и предвидеть. Ее папа, Самуил Росин, вступил в ополчение, в роту, состоящую из писателей. Он был талантливый еврейский поэт, лирик. Накануне войны написал пророческие строчки: “Умру я в самой гуще боя, оставшись юным навсегда”. А мама повезла продовольствие в ту самую “писательскую роту”, где шли бои, под самую Вязьму. Оттуда они оба уже не вернулись.

В другом большом корпусе находилась столовая, к ней примыкала застекленная терраса. Там стоял рояль, была сцена. Детский сад и мамы с малышами жили отдельно. Девочки двенадцати-тринадцати лет помогали мамашам в основном гулять с детьми, словом, освобождать им руки. Еще девочки чистили картошку для столовой. У мальчиков тоже были свои обязанности: снабжать всех водой, доставать бревна, прибившиеся к берегу, и колоть дрова для кухни. Воду привозили в бочках на телеге. Мне поручили нянчить Илюшу Петрова, а также Мишу и Борю Ардовых. Особенно нежно я относилась к Боре, так как его называли в честь моего папы, к тому же он был бледненький и слабенький, а Миша, наоборот, крепкий и загорелый, носил желтую курточку и напоминал итальянского мальчика. Их старший брат по матери Алеша Баталов тоже нам помогал, кроме того, он еще привозил для всех воду, в бочке на лошади. Илюша Петров был светленький карапузик в черных бархатных штанишках. Ему было около двух лет. Обычно Валентина Леонтьевна (его мама) возилась с ним сама или поручала старшему брату Пете. Их отец писатель Евгений Петров, в то время редактор “Огонька”, постоянно выезжал на фронт как военный корреспондент. Мы катали детей на лодке и с кормы полоскали пеленки²⁸.

С годовалой девочкой Таней была Маргарита Алигер:

Мы жили в одной комнате с Ниной Ольшевской, актрисой Театра Красной Армии, женой писателя В. Е. Ардова, близким другом Ахматовой, – в их доме мы и познакомились с нею. Мы жили в одной комнате, Нина с двумя младшими сынишками (старший, Алеша – нынешний актер Алексей Баталов, – жил в лагере) и я с дочкой, и, чем могли, помогали друг другу. Уставали мы за день отчаянно, но вечером, уложив детей и убедившись в том, что они заснули, мы спускались к Каме и, стирая пеленки, читали на память любимые стихи, вспоминали интересные и смешные истории, отдыхали душой, как умели, – это было необходимо, как еда, как сон²⁹.

Маргарита скоро уедет в Москву, это было еще возможно, а ребенка оставит с матерью в Набережных Челнах.

Никто не знает, сколько длиться войне, что кого ждет впереди. И главный, октябрьский исход из столицы еще впереди. На дворе лето. Дети в пионерском лагере, кажется, скоро кошмар закончится и все вернутся в Москву.

²⁸ Левина Е. *От Клязьмы до Камы // Страницки войны. Воспоминания детей писателей / Сост. Н. Громова. М., 2012. С. 114–115.*

²⁹ Алигер М. *В последний раз // Чистопольские страницы. С. 139–140.*

Елабуга. 18–24 августа

В Чистополе на той остановке, о которой шла речь выше, на пароход поднялись женщины, ехавшие в Берсут в детский лагерь. Они уговаривали Цветаеву после Елабуги вернуться в Чистополь, говорили, что там много писателей, что необходимо осесть там и все устроится. Как известно из воспоминаний Л. К. Чуковской, Флора Лейтес, жена критика Лейтеса, которая работала в интернате в Берсуге, обещала похлопотать о прописке и дать Цветаевой телеграмму. Но телеграмму в Елабугу так и не дала, не знала, как ответить Цветаевой об отказе. Итак, 17 августа Цветаева с сыном высадились на берег. Плыли они десять дней, что, конечно же, немало.

Первое, что они увидели в Елабуге, была старая пристань. Длинная, тягостная дорога в город. На холмистых пыльных улицах расплзающиеся старые не то избышки, не то сараи. Заборы – кривые, косые – серее серого. Весь город был похож на одинокую улицу на холме, с тремя соборами, цепочкой купеческих особняков, в которых – горсовет, библиотека, НКВД, Дом культуры. Знала ли Цветаева, что в городе когда-то жил художник Шишкин, кавалерист-девица Дурова?

Над Елабугой, на горе – Чертово городище. Его когда-то поставили на высоком берегу Камы волжские булгары. Сооружение из плоских камней словно перемигивается с тремя соборами, стоящими по другую сторону. По одну сторону – черт, по другую – Бог. Так Цветаева сюда и пришла, увидев то и другое, так и ушла: перед ее недолгим убежищем – домом Бродельщиковых – недалеко Покровский собор. С Покровского бульвара в Москве – к Покровскому собору в Елабуге.

С парохода всех ведут в библиотечный техникум. “Елабуга похожа на сонную, спокойную деревню”³⁰, – замечает Мур в дневнике. Цветаева дает телеграмму в Чистополь Флоре Лейтес.

19 августа Мур записал в дневнике, что хотел бы жить вместе с Сикорскими. Вадим вспоминал, что Марина Ивановна сказала: “Давайте поселимся вместе, пусть мальчики подружатся”. Однако не вышло. Видимо, Цветаева идет в горсовет, где предлагает себя в качестве преподавательницы французского языка. Как писала Лидия Либединская, вспоминая их прогулку с Крученых, накануне войны Цветаева предлагала заниматься с ней французским – пусть и бесплатно.

В этот день они ждут телеграмму от Лейтес. Посылают телеграмму сами. Мур пишет в дневнике, что Асеева в Чистополе нет, он в Казани. Но Асеев в Чистополе. По свидетельству Лидии Чуковской, Флора Лейтес приходит на почту с телеграммой, чтобы написать Цветаевой об отказе Асеева и Тренева в прописке. Чуковская ее отговаривает, ей кажется, что Цветаеву это может убить; приедет и устроится сама.

20 августа. Телеграммы все еще нет. Цветаева идет в горсовет узнать про работу. Сикорская почему-то писала, что Цветаева отказывалась от мысли поступать на службу и не искала работу. Но это не так. Скорее всего, Цветаева делилась своими опасениями относительно того, что на любом месте потребуют документы, заполнения анкеты, что приведет к излишнему интересу к ее особе.

В этот же день Мур пишет, что ей предложили быть переводчицей с немецкого в НКВД. Но это вовсе не означает, что Цветаева ходила в НКВД. Просто в райсовете, горсовете была специальная комната, где сидели люди из органов; это помнят все, кто жил в советские времена. Наверное, когда она рассказывала какому-нибудь мелкому чиновнику, какими языками владеет, ее автоматически направили в такую комнату, откуда и пришел запрос на людей, умеющих изъясняться по-немецки. Несомненно, в этой конторе был необходим человек, владею-

³⁰ Эфрон Г. Т. 1. С. 515.

щий языком, тем более что в Елабуге готовились организовать лагерь военнопленных. Ведь это была не Москва, где переводчика найти очень легко.

Версия о том, что Цветаеву пытались вербовать, кажется сомнительной. Тем более мы знаем из дневников Мура, что Марина Ивановна сама пошла в горсовет в поисках работы, сама рассказывала о знании языков, о возможности их применить. Ее французский в Елабуге был не нужен.

Надо отдать должное Муру, 16-летнему подростку, он тоже ищет работу: обходит библиотеки, канцелярии – любые места, где есть хоть какая-нибудь надежда получить место. “Мне жалко мать, но еще больше жалко себя самого”³¹, – пишет он.

Их багаж все еще на пристани, его перевезут в общежитие, так как комнаты еще нет.

20 августа Вадима Сикорского назначают заведующим клубом, радость от этой должности, отданной 19-летнему юноше, омрачается, когда выясняется, что всех предыдущих заведующих посадили. Наверное, это назначение не обошлось без энергичного участия его матери – Татьяны Сикорской. Она была переводчицей, автором многих советских песен.

Мур надеется, что будет работать с Сикорским в клубе, рисовать плакаты, карикатуры, но выясняется – за это платят гроши. Нина Саконская, еще одна дама, с которой ехали на пароходе, устраивается учительницей пения. Заметим, что для Цветаевой и Мура не видно никаких перспектив.

Как это получается? Приехали вместе, с взрослыми сыновьями, казалось, у всех одни и те же возможности, однако видно, насколько они различны. Если на пароходе в разговорах о возможной работе маячила какая-то надежда, то теперь Цветаева и Мур оказались, по сути, лишенными какого-либо будущего в Елабуге. В эвакуации, особенно ближе к зиме, необходимость быть как-то устроенными, иметь денежный аттестат для каждой семьи было вопросом жизни и смерти.

Сикорская, устроив сына, собирается ехать в Москву к мужу, а затем вернуться в Елабугу. Но тогда ни Цветаевой, ни Мура уже не будет. И Вадим Сикорский, пожалуй, последний из живущих свидетелей, в своих воспоминаниях так и не рассказал, что произошло после смерти Цветаевой. Его записи туманны, основаны на дневниках матери, которая была с Цветаевой в Елабуге только до катастрофы. Главный свидетель тех дней – Н.П. Саконская – умерла в 1951 году, не оставив воспоминаний, но о ней речь еще впереди.

Итак, перспектив нет. На Чистополь делается последняя ставка. Мур язвительно пишет: “Самое ужасное то, что во всем этом есть трагичность, все это отдает мелодрамой, которую я ненавижу”³². Комнаты распределяет горсовет, куда определяют, там и надо жить. Мур отмечает в дневнике, что лучшие комнаты будут отданы семьям и профессорам Ленинградского университета, которые прибывают 21 августа. Интересно, что сюда с университетом придет сын Алексея Толстого Никита Толстой, а затем к нему – в середине января 1942 года – отец его жены, Михаил Лозинский, который всю войну будет переводить в Елабуге “Божественную комедию”.

21 августа Цветаева и ее сын наконец переезжают в комнату, предоставленную горсоветом. Это изба на улице Ворошилова, 10. Им отвели часть горницы, отделенную перегородкой, не достававшей до потолка. За занавеской, так как двери в комнату не было, можно было попасть в пяти-шестиметровый угол с тремя окошками на улицу. В закутке – кровать, кушетка, стул и тумбочка. Фамилия хозяев была Бродельщиковы.

Мура раздражает все: комната, город, улица и уже новые товарищи. Видимо, 22 и 23 августа они заняты с матерью поиском работы, переживанием новых обстоятельств. Они решают,

³¹ Эфрон Г. Т. 1. С. 522.

³² Эфрон Г. Т. 1. С. 524.

что пора ехать в Чистополь, подгоняет еще то, что вещи так и остались на пристани – нераспакованные. Напомним, что долгожданная телеграмма от Лейтес так и не была получена.

Цветаева панически боялась что-либо предпринимать сама – так видно по всем ее решениям: их определяли самые разные люди, которые оказывались в тот момент поблизости. Она сама писала о потере воли. Все, что происходит с ней теперь, можно определить только так.

24 августа. Цветаева отправляется на пароходе в Чистополь вместе с Сикорской, которая едет в Москву. Там же – некая дама из Литфонда по фамилии Струцовская, на советы которой все время ссылается Мур. Куда она девается в Чистополе – неясно. Известно, что Цветаева с собой берет шерсть для продажи. «Настроение у нее, – пишет Мур после ее отъезда, – самоубийственное: «Деньги тают, работы нет»»³³.

В Елабуге со всеми мальчиками остается их попутчица Нина Саконская, детская писательница, мать Саши (Лельки) Соколовского. Эту маленькую красивую женщину грядущая катастрофа заденет непосредственно. Пытаясь узнать о ней поподробнее, я столкнулась с любопытными фактами.

³³ Там же. С. 531.

Рассказ Либединской о Нине Саконской

Нину Саконскую с детства хорошо знала Лидия Либединская, с ней дружила с бакинских времен ее мать поэтесса-футуристка Татьяна Вечорка. В Баку в начале 20-х годов Саконская подружилась с дочерью Вячеслава Иванова – Лидией, обе они занимались музыкой. Там она встретила Алексея Крученых. В своих альбомах, где он хранил всевозможные автографы, есть особый альбом Саконской с множеством писем, стихами декадентского склада. Их названия поражают: “Смерть”, “Морг”, “Мертвячки” и т. д.

Между Саконской и Крученых был роман, который то прерывался, то начинался вновь. В 1928 году она кокетливо написала ему: “Буду твоей вечной невестой”. Муж – Соколовский, от которого был сын Саша, – очень быстро исчез из ее жизни. Вот как рассказывала о ней Либединская.

Фамилия ее была Грушман. Это была довольно обеспеченная семья. Саконская посылала свои фотографии в Париж на конкурс красоты и даже получила приз. В Москве жили рядом: мы на Воротниковском, а они – в Колобовском. У нее, кстати, была какая-то детская повесть о скрипачах, где был описан домик, прямо напротив ее дома, там, где церковь. Она поддерживала близкие отношения с композиторами. Когда мы у них бывали, там всегда был композитор Листов, там он играл “В парке Чаир” и “Тачанку”. На ее застольях все было очень элегантно сделано, какие-то тортинки, было очень красиво. В 1942 году, осенью, когда она вернулась из Елабуги, мне было ни до кого, ни до Цветаевой, ни до Саконской. Я ушла к Либединскому, не знала, как быть, где жить...

Я ее встретила на улице, в нашем Дегтярном переулке, я шла с Малой Дмитровки, а она – к себе домой. Она сказала, что была у мамы, только что приехала. Что Цветаева покончила с собой. Но это мы уже знали.

Чистополь Цветаевой 24–28 августа

23 августа Виноградов-Мамонт описывает в дневнике картины чистопольской жизни: “А в городе плач: 2000 мобилизованных отправили из города на фронт. Тяжелая будет зима!”

Все эти дни по городу в грязи по колено тяжело идут толпы плачущих женщин и детей. На этом фоне московская публика, и в частности Ангелина Степанова с писателями, в Доме культуры решили ставить 25 августа “Любовь Яровую” Тренева.

Берта Горелик рассказывала, что к ним стала иногда приезжать Цветаева. Однако у нее мог произойти некоторый сдвиг в памяти. Ей казалось, что Цветаева приезжала несколько раз, а скорее всего, в те дни она несколько раз заходила к Елизавете Бредель.

Приезжала и боялась оставаться ночевать, уезжала последним паромом. Я уходила, чтоб им не мешать. Они говорили по-немецки, а я ничего не понимала, но не прислушивалась, старалась не мешать им. В один из дней предложила остаться переночевать, места в доме хватало, но Цветаева не осталась. Перед самым отъездом зашла в дом и принесла огромный рулон гарусной шерсти, великолепного цвета, вынула ее и сказала:

– Купите у меня за сто рублей.

Я была поражена.

– Да что вы говорите, сто рублей стоит килограмм картошки на рынке, вы лучше свяжите себе кофту, зима ведь идет.

Я сказала, что могу дать ей сто рублей, только не надо продавать эту шерсть. Но она отказалась, пошла к матери Долматовского, и та купила.

Возможно, из того горестного (гарусного) рулона шерсти была связана хорошая кофточка. В письме к Маргарите Алигер от начала 1942 года из Чистополя Наталья Тренева (Павленко) упоминает о вязании: “И наконец – мы вяжем, да как – запоем, не отрываясь. Софка связала себе две кофточки, чудесные, надо сказать. Я, как более занятая по хозяйству, успела связать только одну. Мы даже в театр пытаемся ходить с вязаньем”³⁴. Софка – это Софья Долматовская, жена поэта Евгения Долматовского.

На улице Цветаева встретила Галину Алперс. Они были знакомы еще по пароходу. Сказала ей и женщинам, стоявшим рядом с ней (одна из них была Санникова), что хочет перебраться в Чистополь, но прописки и работы нет. На что Галина Алперс повторила ей то, в чем потом убеждала и Лидия Чуковская: главное приехать – пропишут. Алперс приводила в пример свой случай. А что касается работы, то женщины как раз обсуждали организацию писательской столовой. Тогда Цветаева и сказала им, что готова работать посудомойкой, это показалось ей выходом из положения. Но столовая откроется только в октябре. Итак, та встреча на улице закончится тем, что Цветаева уйдет с Еленой Санниковой. О том, как переплетется судьба этих двух женщин, речь впереди, но самоубийство Санниковой через два месяца молва отнесет к той встрече, к отражению в ее судьбе гибели Цветаевой. Подруга Санниковой Галина Алперс написала, что они ушли с Цветаевой в боковую улицу, взявшись за руки.

Есть еще одно любопытное свидетельство. Оно принадлежит Наталье Соколовой (Типот) в письме к Марии Белкиной, которое она послала ей после выхода книги “Скрещение судеб”. Она рассказывает, что в первые месяцы эвакуации оказалась со своим маленьким сыном, заболевшим дизентерией, в чистопольской больнице. А ее мать жила в одной комнате с Жанной Гаузнер (дочерью Веры Инбер). Именно у них Цветаева провела одну из тех августовских

³⁴ См. письмо Натальи Трениной к Маргарите Алигер в приложении.

ночей. Спустя годы Жанна Гаузнер, обсуждая с Натальей Соколовой те дни, вспоминала о Цветаевой: “Она плохо понимала реальную жизнь. Хотела работать на кухне, и это казалось ей нетребовательностью, величайшим смирением”³⁵.

Значит, все-таки выходит, что ночь, проведенная в доме матери Н. Соколовой и Ж. Гаузнер, была после того уличного разговора о столовой для писателей.

– Ты же помнишь войну? – говорила Гаузнер Наталье Соколовой. – Все были голодны, все хотели работать на кухне, поближе к пище, горячей пище, кипящему котлу. Изысканный поэт Валентин Парнах, полжизни проведенный в Париже, сидел при входе в столовую (не то интернатскую, не то общую писательскую), не пускал прорывающихся местных ребятишек, следил, чтобы проходящие не таскали ложек и стаканов, – и был счастлив, что так хорошо устроился. Зина Пастернак была сестрой-хозяйкой детсада, работала день и ночь, львиную долю полагающейся ей еды относила Пастернаку. Ну, как было объяснить Цветаевой, что место посудомойки на кухне важнее и завиднее, чем место поэта?

И еще Гаузнер вспоминала, что, когда Цветаева ночевала у них, она все повторяла: “Если меня не будет, они о Муре позаботятся”. Это было вроде навязчивой идеи. “Должны позаботиться, не могут не позаботиться”. “Мур без меня будет пристроен”³⁶.

Меньше всего Цветаевой был свойственен прагматический подход; мысль о том, чтобы оказаться рядом с кухней и оттуда что-то выносить, вряд ли приходила ей в голову. Место посудомойки было самым ничтожным по ее представлениям, и она была готова на него.

Какой бы унижительной ни казалась нам сегодня та записка, которую Цветаева написала о желании быть посудомойкой, но реальность была еще ужасней. Не так-то просто было получить и это место. Устроиться так, чтобы быть поближе к еде, хотелось многим. Может быть, кто-то объяснил Цветаевой, что и здесь перспективы нет?

Известно, что в Чистополе Цветаева переночевала у Валерии Владимировны Навшиной, жены Паустовского, о чем написано в воспоминаниях Л. К. Чуковской, которая утверждала, что ночевала она у Навшиной в общежитии. Однако у Паустовского в 20-х числах августа уже была комната, которая соседствовала с Асеевской. Это подтверждается в письме критика А. Дермана к И. Новикову, который поселился в ней после отъезда Паустовского в Алма-Ату:

Мы в Чистополе с 3 августа. Довольно много времени в усилиях устроиться, долго прожили в общежитии и т. д. А потом вдруг повезло. Паустовский с семьей решил уехать в Алма-Ату, и ко мне перешла принадлежавшая ему комната, отличная, необыкновенная, теплая, в центре. Сосед мой по комнате – Асеев с женой и бельсэрами. Был здесь обильный и дешевый рынок, сейчас – скудный и дорогой³⁷.

Таким образом, получается, что Цветаева, ночуя в комнате Паустовских в те дни, не могла не общаться с Асеевым и сестрами его жены Оксаны. Этим, по всей видимости, объясняется перемена в поведении поэта.

Асеев вместе с Трневым сначала, как мы помним, не подписали Флоре Лейтес, которая пыталась вызвать Цветаеву из Елабуги, разрешение на ее прописку. А когда лично встретился с ней, то дал разрешение, но не устное, а письменное. На собрание Асеев не пошел, но прислал записку с согласием о прописке Цветаевой. Трнев полностью остался при своем.

³⁵ См. письмо Натальи Соколовой к Марии Белкиной в приложении.

³⁶ Там же.

³⁷ РГАЛИ. Ф. 343. Оп. 4. Ед. хр. 628.

В письмах А. Н. Зенкевич к мужу говорится, что 10 августа в Чистополь в военной форме прибыл К. Г. Паустовский. Несколько месяцев войны он был в Одессе, пытаясь организовать фронтную газету, затем вернулся в Москву, где в самом начале августа обнаружил (как уже говорилось выше) свой подъезд в Лаврушенском переулке разбомбленным и, пожив немного на даче у Федина, приехал к семье в Чистополь. Он не мог не встретить Цветаеву, хотя бы потому, что вошел в Совет по делам эвакуированных. Но почему он ничего об этом не писал? И когда Цветаева ночевала у Навашинной, где был Паустовский?³⁸

Ксения Синякова, комнаты которой соседствовали с навашинскими, говорила потом Белкиной, что Цветаева приходила к ним в Чистополе и что они ее принимали. Ксения подчеркивала: хорошо принимали. Может быть, это общение и подтолкнуло Цветаеву завещать сына Асееву и сестрам Синяковым.

Паустовский, как выясняется, не успел узнать о судьбе Цветаевой и ее сына. Он покинул город, когда весть о самоубийстве еще не долетела до Чистополя. А свою комнату Паустовский и Навашина передали близкому другу – “старика” Дерману, с которым писатель дружил в еще довоенной Ялте. Так он и оказался рядом с Асеевым. Но вернемся к странствиям Цветаевой по Чистополю.

Лидия Чуковская писала, что встретила Цветаеву 26 августа. В тот день проходило собрание в парткоме, решавшее ее судьбу. Лидия Корнеевна была совершенно уверена, что Марина Ивановна пропишется в городе.

Прописка в Чистополе для литераторов затруднений не представляла, – писала она в очерке “Предсмертие”. – <...> Совет эвакуированных выдавал всем приезжим справку со штампом Союза писателей за подписью Асеева, Тренева и уж не помню чьей. Выдали справку и мне. Ищи себе комнату и отправляйся в горсовет, к Тверяковой. Та в свои приемные часы всегда на месте. Это доброжелательная и толковая женщина. Она расспрашивала, у кого дети, какого возраста, прикидывала, какой семье в какой избе будет удобнее: где какие хозяева, где хозяин пьет, где хозяйка сварливая, у кого корова, у кого козы. Когда приезжий находил себе комнату, она незамедлительно ставила штамп. Была бы справка. Писательских фамилий она, безусловно, не слыхала никогда ни единой³⁹.

С Чуковской Цветаева сидела в коридоре и ожидала, пока закончится партийное собрание, где решалась ее судьба. Из кабинета вышла Вера Смирнова (тогда она была парторгом

³⁸ В моей переписке с Ирмой Кудровой (автором биографии М. Цветаевой) я подтвердила свои сведения о пребывании Паустовского в Чистополе. В ответ она выслала мне отрывок из дневника Л. Левицкого (секретаря Паустовского), который я привожу: “...Она (Ирма Кудрова. – Н. Г.) считает, что я выдумываю, говоря, что Паустовский участвовал в чистопольском заседании, на котором решалась судьба Цветаевой. Но я никогда не утверждал, что Паустовский там присутствовал. Я ограничивался констатацией того, что К. Г. мне рассказывал об этом заседании и ругательски ругал председательствовавшего на нем Тренева. Тогда, когда шел этот разговор, мне в голову не пришло осведомиться у него, рассказывает ли он то, чему был свидетелем, или передает это с чужих слов. Вера Васильевна Смирнова в ноябре шестьдесят второго поделилась со мной, что у нее хранится записка Марины Ивановны, в которой та просит устроить ее работать в столовой судомойкой, и заодно рассказала, что лучше всех в защиту Цветаевой выступил Паустовский. С другой стороны, почти все в один голос говорят, что, когда решалась участь Марины Ивановны, К. Г. в Чистополе еще не было”. Однако теперь можно достоверно утверждать, что Паустовский приехал 10 августа, а выехал из Чистополя 1 или 2 августа. Дата приезда Паустовского есть и в письме жены Зенкевича 20 августа в письме Л. К. Чуковской к отцу от 21 августа, где говорится о приезде в Чистополь Квитко и Паустовского (Л. К. Чуковская, Л. Чуковская. *Переписка: 1912–1969*. М., 2003. С. 302). Вторая дата находится по той же переписке Л. К. Чуковской с отцом (это письмо от 4 сентября 1941 года) на странице 306, здесь все вместе – и отъезд Паустовского, и гибель Цветаевой. “Паустовские, – пишет Л. К., – уехали в Алма-Ату, Шнейдеры – тоже <...>. Сегодня 4.9. в Елабуге на днях похоронили Марину Ивановну Цветаеву. Она повесилась”. Эти сведения, несомненно, привез в Чистополь Мур. Но Паустовские точно уехали до этого, письмо длинное и пишется частями.

³⁹ Чуковская Л. *Предсмертие // Марина Цветаева в воспоминаниях современников. Т. 3. Возвращение на родину*. М., 2002. С. 180–181.

писательской организации Чистополя) и сказала, что ей нечего волноваться, судьба ее решена, она может прописываться. Против был один Тренев, все остальные согласны. С Чуковской они пошли в гости к Татьяне Арбузовой и Михаилу Шнейдеру⁴⁰, где та читала стихи, хотела вернуться к ним вечером, переночевать, но так и не пришла.

Как выяснилось сейчас, она была и у еврейского писателя Нояха Лурье⁴¹, с которым приятельствовала в 1940 году в Голицыне. В письме из Израиля его внука Юлия Винер, которой тогда было шесть лет, пишет:

Цветаеву я в Чистополе видела, это правда, и именно у моего дедушки Нояха Лурье (я была в литфондовском детдоме, а он приехал позже и жил в какой-то лачуге в самом Чистополе), но никакого зрительного образа не сохранилось, я и понятия не имела, кто это, осталось только общее ощущение ужасной неприкаянности и несчастья, а я, сама в то время несчастная и неприкаянная, очень сильно это воспринимала. И потому эта женщина была мне неприятна, и хотелось, чтобы поскорей ушла. Может быть, я даже что-нибудь в этом роде ей и сказала⁴².

Это выяснилось вскользь, почти случайно, сам Ноях Лурье не оставил воспоминаний о той встрече, может быть, из-за ее мимолетности.

Виноградов-Мамонт записывает в дневнике 27 августа, в последний день, когда Цветаева находилась в Чистополе.

Шел в 11 ч. в музей, а дорогу мне пересекла страшная процессия: 800 мобилизованных (35–42 лет), бородатых, изнуренных колхозников с мешками за спинами шагали к пристани. Кое-кто из них на руках нес детей. А вокруг каждого мобилизованного бойца воют бабы и по 5–6 ребятишек, <... > рядом жена заливается горькими слезами, детишки прижимаются к отцу, быть может, в последний раз⁴³.

Эту картину не могла не видеть Цветаева. В 1920-е годы она с лихвой приняла все, что только можно, – голод, смерть ребенка, холод, страх, отчаяние. Принять в себя снова эту горечь – видимо, было не по силам.

Вот и на пристани, где встретила Лизу Лойтер, пианистку, жену поэта Ильи Френкеля, попросила ее купить билет на пароход. Было много пьяных, она боялась их. Можно только представить, как пили мужики, уходя на фронт. Не случайна фраза из предсмертного письма Цветаевой о судьбе сына: “Пароходы – страшные, умоляю не отправлять его одного”.

И еще. После выхода книги о Чистополе пришло письмо из Израиля от дочки Елизаветы Лойтер М. И. Ковальской; рассказывая о своей маме, она делает уточнение к рассказу о встрече

⁴⁰ Татьяна Алексеевна Арбузова, бывшая жена драматурга Арбузова, в будущем жена Паустовского. Из интервью ее дочери Галины: “Мама вышла во второй раз замуж за блистательного человека, Михаила Яковлевича Шнейдера. В Москве тогда были две литературно-философские школы. Во главе одной из них стоял Шкловский, а во главе второй – Шнейдер, сейчас совершенно забытый. Он был сценаристом, но, главное, написал книгу «Наедине с дураком», которую тогда, конечно, нельзя было напечатать. Она так и не была издана, затерялась, но те, кто ее читал, говорят, что это была выдающаяся вещь. Началась война. Мы все попали в Чистополь, откуда было трудно выбраться, и именно Паустовский взял нашу семью с собой в Алма-Ату, в эвакуацию. Именно там, в 43-м году, Константин Георгиевич признался маме в любви”. (“Огонек”. 2001. № ю). Судя по письму Л. Чуковской к отцу от 4 сентября 1941 года, Паустовский с женой и Арбузова со Шнейдером уехали еще в начале сентября. О Шнейдерах см. также очерк Лидии Чуковской “Предсмертие”. (*Марина Цветаева в воспоминаниях современников*. Т. 3. С. 194–195.)

⁴¹ См. о нем: Белкина М. *Скрещенье судеб*. С. 190–193; а также в воспоминаниях Льва Славина *Портреты и записки*. М., 1965. С. 101–104.

⁴² Личный архив автора.

⁴³ Виноградов-Мамонт Н. [*Из дневника*]. С. 112.

с Цветаевой. “Когда мама встретила с Цветаевой, она везла в Казань к главному врачу Юру Барта, у которого был поражен глаз, который, насколько помню, не удалось врачам спасти.

Я запомнила из рассказа мамы только то, что М. И. обратилась к ней с просьбой купить билет до Елабуги. Она была, по словам мамы, страшно измучена и голодна. А у мамы из еды был только арбуз, который они втроем и съели на пристани. Содержание их разговора я не помню, или мама не передала мне его”.

Без меня Мур будет пристроен... 28–31 августа

Возвращение в Елабугу было тяжелым. Опять спорили с Муром, искали возможный выход. 29 августа решили брать подводу и ехать на пристань. Мур собирался выписаться из военкомата. 30 августа все изменилось. Точно так же было в Москве: казалось бы, они все определили, решили, и вдруг все рушилось в последний момент.

Вчера к вечеру мать еще решила ехать назавтра в Чистополь. Но потом к ней пришли Н. П. Саконская и некая Ржановская, которые ей посоветовали не уезжать. Ржановская рассказала ей о том, что она слышала о возможности работы на огородном совхозе в 2 км отсюда – там платят 6 р. в день плюс хлеб, кажется. Мать ухватилась за эту перспективу, тем более что, по ее словам, комнаты в Чистополе можно найти только на окраинах, на отвратительных, грязных, далеких от центра улицах. Потом Ржановская и Саконская сказали, что “ils ne laisseront pas tomber”⁴⁴ мать, что они организуют среди писателей уроки французского языка и т. д. По правде сказать, я им ни капли не верю, как не вижу возможности работы в этом совхозе. Говорят, работа в совхозе продлится по ноябрь включительно. Как мне кажется, это должна быть очень грязная работа. Мать – как вертушка: совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня “решающего слова”, но я отказываюсь это “решающее слово” произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня. Когда мы уезжали из Москвы, я махнул рукой на все и предоставил полностью матери право veto и т. д. Пусть разбирается сама⁴⁵.

Можно только представить, что устроил ей Мур, когда они остались одни. Но он тоже на что-то рассчитывал. 31 августа – последний день каникул, он хотел идти в школу в Чистополе – это был его главный аргумент.

В последний день Цветаева была у Саконской. Либединская вспоминает, что уютный уголок, который та сумела создать в чужом доме в Елабуге, нравился Цветаевой; в закутке висело бакинское сюзане, которое та привезла с собой.

Вышитое на сатине, тогда это модно было, надо было как-то стены прикрывать. Это сюзане было большое, как ковер. На Востоке всегда оставляют несделанный завиток, потому что кончается работа – кончается жизнь. Поэтому на всех ручных коврах есть такой завиток. Саконская рассказывала, что Цветаевой оно очень нравилось. Оно спускалось со стенки и накрывало пружинный матрац, а рядом стояла настольная лампа, которую Саконская тоже привезла с собой из Москвы. Цветаева любила садиться в свете лампы на фоне сюзане. Саконская так и запомнила ее в предпоследний вечер. И еще она сказала, что отговаривала ее уезжать.

Напомним еще раз: Саконская умерла в 1951 году. Ариадна Эфрон разыскала Татьяну Сикорскую, но о попытках списаться с Саконской ничего не известно.

Дневники Мура расширили возможность узнать о тех, кто был в те дни рядом с Цветаевой. Была некая Ржановская, еще семья Загорских. Кое-что о них удалось узнать. Все-таки какие-никакие, но рядом были писатели, кроме того, с Саконской у Цветаевой было множество

⁴⁴ “они не бросят” (франц.).

⁴⁵ Эфрон Г. Т. 1. С. 538–539.

прежних общих знакомых. Ждали вот-вот сотрудников Ленинградского университета, может быть, их и имели в виду Саконская и Ржановская, когда говорили о преподавании среди писателей французского языка.

И еще. Собрано много рассказов елабужцев о том, что они встречали, разговаривали, общались с несчастной женщиной; в воспоминаниях многие полагают, что это была Цветаева. Однако вполне возможно, что они спустя годы, припоминая те дни, любую растерянную эвакуированную женщину ретроспективно могли счесть Цветаевой.

Писатели в этом смысле более надежный народ хотя бы потому, что они пусть отдаленно, но представляли, что она за поэт, или слышали о ней в Москве, как, например, Берта Горелик.

Валентина Марковна Ржановская жила на Тойминской улице, в доме №1, ее муж Евгений Семенович Юнга (Михейкин) был писателем и военным журналистом, работал в газете “Фронт-товик”. А Михаил Борисович Загорский был в 1930-е годы известным театральным критиком, его материалы, освещавшие театральную жизнь, в том числе и еврейских театров ГОСЕТ, “Габима” и других, часто появлялись в печати. Беда в том, что Загорский умер все в том же 1951 году, когда до признания Цветаевой оставались считанные годы.

31 августа

Итак, судя по предсмертной записке, Цветаева была абсолютно уверена, что сын в Елабуге не останется, а уедет в Чистополь. И как ей представлялось накануне, один он сможет устроиться лучше, чем с ней. Видимо, и на нее действовала советская идеология, представление о том, что заботу о сироте государство возьмет на себя. Как это ни печально, но скорее всего такая возможность, пусть в запале, пусть в ссоре, накануне могла ими обсуждаться. Мур пишет в дневнике, что последние дни мать просила освободить ее, говорила о самоубийстве. И главное, на что хотелось бы обратить внимание. Много говорилось о предсмертной записке родным, записке Асееву, но записка писателям, на мой взгляд, не до конца осмыслена.

<ПИСАТЕЛЯМ> Дорогие товарищи! Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы – страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему и с багажом – сложить и довести в Чистополь. Надеюсь на распродажу моих вещей.

Я хочу, чтобы Мур жил и учился. *Со мною он пропадет.* Адрес Асеева на конверте.

Не похороните живой! Хорошенько проверьте.

Цветаева пишет именно елабужским писателям, а не чистопольским. Просит их позаботиться о мальчике, посадить его на пароход. Кроме того, она просит себя похоронить. Судя по всему, они выполнили просьбу Цветаевой, но мы знаем об этом ничтожно мало.

Почему хотела отправить Мура к Асееву? Все-таки нельзя отказаться от мысли, что такое доверие к нему и сестрам Синяковым могло возникнуть в последнюю поездку в Чистополь, при более короткой встрече с поэтом, о которой нам ничего не известно.

Итак, два самых близких человека, мать и сын, были истерзаны обстоятельствами, истерзаны друг другом. Вместо поддержки они мучили и боролись друг с другом. Оттого, наверное, и прозвучали слова Мура, так поразившие окружающих. О том, что Марина Ивановна поступила правильно. Но уже отмечалось неоднократно, что жалость, боль, сочувствие к матери пришло позже, в Ташкенте, когда мера одиночества и даже одичания Мура превысила все возможные пределы. Вот тогда он и напишет в письме о ее страдании накануне гибели.

О самоубийстве уже написано много. О том, как в тот день Цветаева осталась одна, как ее нашли. Дневник Мура так и не прояснил, кто ее нашел, кто вынул из петли, это уже стало областью мифов; как проходили похороны, где оказалась могила. Но зато появилось много косвенных свидетельств. Сопоставив их с прежними, можно увидеть нечто новое. Еще раз попробуем разобраться в людях, которые окружали Мура в тот день. Ведь не к мальчикам обращала она свое письмо о помощи Муру.

Вадим Сикорский, цитируя свои записи, говорит, что 31 августа он сидел в кинотеатре и смотрел фильм «Троза», и после вопля Катерины и молний на экране вдруг раздался женский крик: «Сикорский!» Сикорский пишет: «Я бросился к выходу. Жена писателя Загорского сообщила: «Марина Ивановна повесилась. Хозяин вернулся домой и наткнулся...»⁴⁶

Мур, который боялся войти в дом, увидеть покойницу, ушел ночевать к Сикорскому. Весь последующий день он был в милиции, откуда забрал записки матери, в больнице, где взял свидетельство о смерти, в загсе, где взял разрешение на похороны. Когда он пишет, что Марина Ивановна была «в полном здравии в момент самоубийства», то скорее всего имеет

⁴⁶ Сикорский В. «...Не моя златоглавая». Незабываемое о Марине Цветаевой // Марина Цветаева в воспоминаниях... Т. 3. С. 215.

в виду результаты медицинского освидетельствования, которые были указаны в справке из больницы.

Через день – 2 сентября – ее хоронили. “Долго ждали лошадей, гроб. Похоронена на средства горсовета на кладбище”⁴⁷. Скорее всего, ее хоронили Мур, Саконская с сыном, Сикорский, Ржановская, супруги Загорские...

В поисках Загорского я стала смотреть в РГАЛИ по указателю его переписку военного времени. Обнаружилось одно письмо от мая 1942 года писателю В. Г. Лидину. Поразило, что Ржановская тоже пишет В. Г. Лидину в начале 1942 года. Возникла надежда: вдруг они что-то напишут ему о Цветаевой, хотя бы не впрямую, намеками. Оказалось, все значительно проще. М. Загорский писал Лидину как знаменитому книголюбу о том, что до него дошли сведения, что в его квартире на Малой Бронной прорвало батареи и там могла погибнуть ценная коллекция книг XVIII века по театру и литературе, а также коллекция гравюр. Письмо Ржановской было приложено к письмам мужа, который находился на фронте и через Елабугу посылал в Москву свои очерки.

Однако есть другие странные следы тех дней. После долгих разысканий я вдруг осознала, что почти наверняка никто не станет рассказывать, как все было в Елабуге, а если кто и рассказывал, то это еще хранится на дне семейных архивов. Об этом много говорили, но писали мимоходом.

Итак, в 1942 году М. Загорский, взволнованный гибелью в Москве своей коллекции, умоляет Фадеева вызвать его хотя бы в командировку. Напомним, что выехать из эвакуации было гораздо тяжелее, чем отправиться туда. “Если Вы будете медлить, – обращается он к Фадееву, – то в Елабуге погибнет третий из членов писателей, погибнет зря...”⁴⁸ Интересно, что Загорский считал Цветаеву членом Союза писателей. Что же касается еще одной смерти в Елабуге, то об этом еще будет рассказано. Мария Гонта, сценаристка и переводчица, приехавшая в Елабугу уже после смерти Цветаевой, умоляя Фадеева выволить ее, пишет:

Здесь люди живут весом и ценой дыма, пролитой воды, тряпки, микроскопическими, молекулярными интересами, достойными каких-то одноклеточных, если бы природа не позволила себе шутку – дать им слово. Здесь легко умереть, как умерла Цветаева⁴⁹.

По этим письмам видно, что смерть Цветаевой стала в каком-то смысле разменной монетой для тех писателей, что застряли в эвакуации. Но так это видится только на внешнем уровне; если заглянуть глубже, то понимаешь, что Цветаева вдруг воплотила для них обездоленность и затравленность маленького советского писателя, забытого государством. И хотя ее судьба являла полную противоположность такой мысли, всем было важно другое – написать, сказать, выкрикнуть: посмотрите, до чего нас довели! Такое прочтение ее гибели теми, кто находился рядом, честно говоря, меня поразило. Однако если вспомнить, как десяток лет кормили, пестовали, хотя и сажали, но и награждали советских писателей (больших и маленьких), невольно поймешь их почти детскую обиду на государство. А воплощал его в те годы Александр Фадеев, который и получал эти жалобы и стенания.

Итак, уезжая в Чистополь, Мур писал, что простился с Загорскими, Сикорским и Лелькой (Соколовским).

⁴⁷ Эфрон Г. Т. 2. С. 8.

⁴⁸ РГАЛИ. Ф. 636. Оп. 15. Ед. хр. 759 (1).

⁴⁹ РГАЛИ. Ф. 636. Оп. 15. Ед. хр. 488 (2).

Разговор с Вадимом Сикорским

Конечно, хотелось расспросить фактически единственного оставшегося свидетеля тех дней – Вадима Сикорского, однако, судя по его собственным воспоминаниям, трудно было надеяться на что-то новое. Но случай вскоре представился сам. Он позвонил Марии Белкиной, чтобы обсудить с ней дневники Мура; она попросила разрешения мне поговорить с ним. Он был доброжелателен, но вопросы принимал в штыки, говоря, что давно уже все рассказал.

Мур был замкнутым, молчун. Я вообще не знал, что он такой. Я был потрясен, когда прочел его дневники. Я не представлял, что он такой... умный, все понимает. Он никогда ничего не говорил, не обсуждал.

А Цветаева... она мне казалась ужасно старой, все время сидела и вязала. Я даже не представлял, что она такой поэт. Она мне читала свою поэму “Царь-девица”. Мне ужасно не понравилось. Узнал ее как поэта только спустя 8 лет. И был буквально потрясен. Елабуга была страшная. Там были не писатели, а какая-то мелочь. Я их и не читал никогда. Там был страшный быт. Мы выживали. И в этом нет ничего интересного. Мур ко мне пришел на одну ночь.

Я: Вы ее хоронили?

Он: Почему вы спрашиваете? (*После паузы.*) Можете считать, что меня там не было. Всем нужно про место на кладбище, всем, а зачем оно? Я как в дыму был. Пил тогда очень. Я: В дневниках Мура написано, будто бы Цветаева хотела, чтобы вы жили вместе. Хотела, чтоб мальчики дружили.

Он: (*Смеется.*) Мама боялась влияния Мура на меня. Хотя чем он мог на меня влиять? Только высокомерным своим видом и молчанием. Они оба меня раздражали, честно скажу. Особенно когда в моем присутствии говорили по-французски. Мне казалось, что это ужасно неприлично. Культурные люди, а пользуются тем, что я не понимаю... В ту ночь прибежал ко мне, весь трясся...

Я пришел (был списан) с Тихоокеанского флота. Меня комиссовали. Хотели снова забрать в армию, но я был по здоровью не годен. Мне мать говорила, что в Елабуге будут писатели, будет интересно. А оказалась страшная дыра... Вы знаете, я вспоминать об этом не могу... Мне плохо, когда вспоминаю... Вот Аля – другое дело, с ней мы с мамой много общались.

Похороны эвакуированных

*Когда кривляться станет ни к чему
И даже правда будет позабыта,
Я подойду к могильному холму
И голос подниму в ее защиту.*

Борис Пастернак

Разговор о могиле Цветаевой начался очень скоро.

В начале 1942 года в Елабуге на той же Тойминской улице, где жила Ржановская, поселилась близкая приятельница Пастернака Мария Гонта, о которой говорилось в предыдущей главе.

В письме от 25 сентября 1942 года Пастернак просил ее: «Напишите, в каком состоянии могила Цветаевой. Есть ли на ней крест или камень, или надпись, или какой-нибудь отличительный знак?»⁵⁰ Марика отвечает 12 октября 1942 года: «О Марине напишу особо. Когда хоронили Добычина, пытались установить место, где лежит Марина, и с некоторой вероятностью положили камень»⁵¹. Как всегда бывает, письма, в котором Марика собиралась особо сообщить о Марине, не сохранилось.

Итак, решила узнать, кто такой Добычин и когда его похоронили. Выяснилось все довольно скоро. В письме в Союз писателей на имя Фадеева жена Н. Е. Добычина З. Серякова пишет: «Первого октября мой муж умер, пролежав пять месяцев в больнице, я осталась в Елабуге одна, так как все мои родные и близкие в Москве»⁵². А 9 октября 1942 года М. Загорский и В. Ржановская, то есть те же люди, что были возле Мура в те последние дни, просят руководство Союза писателей дать разрешение жене Добычина на въезд в Москву, чтобы позволить ей разбирать архив мужа.

Тот Добычин, как удалось выяснить, – переводчик с ойранского (!), то есть с алтайского языка. Пекутся о его жене, архиве. А вот письмо М. Загорского в Союз писателей, Л. Скосыреву от 15 октября 1942 года: «С сожалением начинаю свое письмо печальной вестью: 1 октября умер Н.Е. Добычин. Сегодня мы его хоронили. Вот уже вторая потеря, первой была Марина Цветаева. Из членов Союза оказались здесь всего трое: я, Марголис и Зелинский. Н. П. Саконская уехала в Москву...»⁵³ Но есть одно несчастье, произошедшее спустя два месяца после гибели Марины Цветаевой, – самоубийство Елены Санниковой. Эта история общеизвестна, но картина ее похорон вдруг высветила в каком-то смысле и погребение Цветаевой. Санникова погибла в октябре, забегая вперед, придется рассказать о ней именно здесь.

Известие о смерти Цветаевой пришло вместе с Муром, приплывшем в Чистополь. И вот наш чистопольский хроникер Виноградов-Мамонт фиксирует:

4 сентября. <...> Утром пришло известие: мне перевели из Москвы 100 руб<лей>... Денег на почте я не получил, ибо в кассе – пусто <...>. (Там

⁵⁰ Семейный архив Пастернаков.

⁵¹ Там же.

⁵² РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. боб. По поручению группы эвакуированных писателей М. Загорский и В. Ржановская писали в Союз советских писателей 9 октября 1942 года: «После смерти члена советских писателей Н.Е. Добычина осталась в Москве его лит. архив, в котором содержатся начатые работы <...>».

⁵³ РГАЛИ. Ф. 631. Оп.15. Ед. хр. 761 (2).

от одной писательницы узнал, что Марина Цветаева повесилась.) Веселый, солнечный день, и темно-синяя (“сапфирная”) Кама <...>.

В этой записи особенно поразителен конец. Не надо думать, что хроникер – человек недобрый. Спустя два месяца он поведет себя наилучшим образом.

25 октября. Суббота. <...> В четвертом часу я заезжал в столовую – узнать новости. Сел с Арским за столик – глотать “шрапнель” <кашу>. Вдруг приходит женщина и просит кого-нибудь из писателей помочь перенести труп Елены Санниковой (Обрадович сказал мне утром, что она повесилась), жены Григория Санникова – поэта. Никто из писателей не пошел. Я не считал возможным отказать в такой просьбе. Пришел на Красноармейскую, 125. На дворе лавка, на ней труп, накрытый простыней. Дали мне ее паспорт. Я взглянул на карточку – и узнал в ней даму, которая 4 сентября сообщила мне: “Марина Цветаева повесилась”⁵⁴.

Прервем запись. Все-таки жизненная драматургия невероятна. Ведь кто-то другой мог рассказать Виноградову-Мамонту о Цветаевой, не Санникова.

Итак, продолжаем.

Мне пришлось сопровождать труп в морг. Я попросил Нейштадт, жену переводчика, сообщить жене, что я остался на собрании.

Возница был учитель, хозяин квартиры, где жила Санникова. Оказалось, что она боялась нищеты. Получая 800 рублей в месяц, она прятала деньги, а иногда безрассудно их тратила – и потом приходила в Литфонд за пособием.

Считалась ненормальной психологически женщиной. Вчера вечером принесли ей повестку, отправляли в колхоз. А утром она повесилась на печной отдушине, поджав ноги.

<...> Мальчик, сын, 14 лет обнаружил труп. С учителем мы в темноте (был шестой час вечера) проехали, утопая в грязи, на кладбище. Не нашли ворота. Объехали кругом и потом между могил – провезли свою колымагу до морга (то есть простой избы – мертвецкой). По дороге лицо покойницы открывалось, и я задергивал простыню. У морга я с учителем переложил труп на носилки и внес в морг, где положили рядом с голым трупом какого-то мужчины... Сколько раз я встречался с поэтом, и он не знал, какую услугу суждено мне было оказать его жене. Поехали обратно, в полной темноте, оставив позади и морг, и сторожку, где шло пьянство и раздавались песни⁵⁵.

Вот так в городе, где у Санниковой было много знакомых, вез ее в морг чужой человек.

Галина Алперс рассказывала, что Санникова очень боялась надвигающейся зимы, все время повторяла: “Как мы переживем зиму? Детей нечем кормить, они замерзнут, лучше детям, если я уйду, тогда о них будут заботиться”. В отделе народного образования она надеялась получить место преподавателя английского языка. Мотив самоубийства – освободить от себя детей. Видно, как все похоже: гибель, ее мотивы. Это и создало укрепившееся на долгие годы мнение, что Санникова покончила с собой под воздействием Марины Цветаевой.

О. Дзюбинская вспоминала:

⁵⁴ Виноградов-Мамонт Н. [Из дневника]. Чистопольские страницы. С. 118; вторая часть записи РГАЛИ. Ф. 2542. Оп. 3. Ед. хр. 38.

⁵⁵ РГАЛИ. Ф. 2542. Оп. 3. Ед. хр. 38.

Из-за угла навстречу мне вышла Санникова, вид ее был ужасен: лапти вместо галош, суковатая палка, черное пальто, застегнутое на все пуговицы, лицо – белое, как бумага.

– Оля, вчера в Елабуге повесилась Марина Цветаева. – И пошла дальше⁵⁶.

Хоронили на чистопольском кладбище Елену Санникову Борис Алперс, его жена Галина, Виноградов-Мамонт и Ольга Дзюбинская.

Сыну Елены Санниковой не удалось спустя годы разыскать могилу матери, несмотря на то, что, когда отец приехал с фронта за ними, они вместе ходили на кладбище. Время стерло все следы.

И прежде чем закончить историю с Еленой (Беллой) Санниковой (девичья фамилия которой было Назарбекян), хотелось бы напомнить ее романтическую историю. В начале века она была одной из первых петербургских красавиц. Ее называли грузинской княжной Беллой. В 1912 году в Териоках был организован летний театр, Мейерхольд ставил спектакли. В один из дней М. Кузмин, художницы Бебутова, Яковлева и Белла Назарбекян, которой был увлечен художник Сапунов, ушли на лодке в море.

Скоро, в ту же ночь, – писал А. А. Мгебров, – разыгралась страшная трагедия, которая темным ужасом легла на всю нашу дальнейшую жизнь в Териоках: далеко в море лодка каким-то образом перевернулась, и в то время как все держались за нее, крича о помощи, Сапунов незаметно для других исчез и утонул... Никогда я не забуду лиц тех, кто спасся: они были жалкими и растерянными до ужаса⁵⁷.

Сапунова море вернуло через одиннадцать дней. Говорили, что он хотел утонуть из-за любви к Белле.

27 октября Виноградов-Мамонт записывает: “Рассказал Д. Петровскому, Арскому, Обродовичу, Далецкому и Шевцову свою историю с Санниковой <...>”⁵⁸

О могиле же Цветаевой разговор шел всю войну и после. Уже в 1948 году Пастернак писал В. Авдееву о том, что необходимо продолжить поиски.

Дочь Цветаевой запросила письмом Ник. Ник. Асеева, известно ли место, где погребена Марина Ивановна в Елабуге. В свое время я спрашивал об этом Лозинского, жившего в Елабуге, и он мне ничего не мог по этому поводу сказать. Может быть, исходя из Вашего территориального соседства с Елабугой, < может > быть, у Вас там есть знакомые и Вы что-нибудь знаете по этому поводу.

Если бы мне десять лет тому назад (она была еще в Париже, я был противником этого переезда) сказали, что она так кончит и я так буду справляться о месте, где ее похоронили, и это никому не будет известно, я почел бы все это обидным и немислимым бредом. И так все в жизни⁵⁹.

⁵⁶ Дзюбинская О. Из статьи “Город сердца моего” // *Марина Цветаева в воспоминаниях...* Т. 3. С. 177.

⁵⁷ Мгебров А. *Жизнь в театре*. В 2 томах. М.-Л., 1932. Т. 2. С. 206. См. также о Елене Санниковой: “Еще меня любите за то, что я умру...”. *Марина Цветаева и Елена Назарбекян* // Григорий Санников. *Лирика*. М., 2000. С. 115–122.

⁵⁸ Виноградов-Мамонт Н. [Из дневника]. С. 118; РГАЛИ. Ф. 2542. Оп. 3. Ед. хр. 38.

⁵⁹ “...Вечно милый мне Чистополь”. *Дарственные надписи и письма Б. Л. Пастернака В. Д. Авдееву* // *Чистопольские страницы*. С. 260.

Отражение гибели Цветаевой

Как уже говорилось выше, Мур приехал в Чистополь и рассказал о смерти матери. Наталья Соколова в письме Белкиной вспоминала, что в те дни, когда Мур (хоронил!?) мать, в Елабуге оказался Юрий Оснос, в то время муж Жанны Гаузнер, критик. Они встретились на пристани. Мур писал, что тот помог ему таскать вещи, покупать билеты. Ехали они вместе.

Хорошо, что я с ним поехал. Пароход “Москва” был битком набит <...> эвакуированными, мобилизованными, все это воняло и кричало, и сесть туда не пришлось – не пускали. <...> Приехав в Чистополь, я позавтракал у Осноса и пошел к Асеевым¹.

Наталья Соколова вспоминает то же самое: “Оснос, вернувшись из поездки, привез растерянного Мура на нашу квартиру, помог ему дотащить вещи – знаменитый чемодан с рукописями матери и весь остальной скарб”^{60 61}.

Мы оставим на некоторое время Мура. В данном случае он был источником вести, которая за очень небольшое время стала циркулировать по всему писательскому сообществу. Никто не знал подробностей, да и писать развернуто, как уже говорилось, не решались.

Лидия Чуковская писала отцу: “Сегодня 4/IX. В Елабуге на днях похоронили Марину Ивановну Цветаеву. Она повесилась”⁶².

Мария Белкина 10 сентября сообщала А. Тарасенкову в Ленинград, где он находился вместе с другими писателями: “Марина Ивановна – стала уже историей литературы. Она умерла. Как мне всегда казалось, она умрет не просто. У нее была слишком трудная жизнь, видно, она под конец не выдержала. Я видела ее перед отъездом”⁶³. Через некоторое время последовало другое письмо, где говорилось, что Цветаева умерла как герой Л. Толстого “Поликушка”. Так она намекала мужу на обстоятельства ее гибели.

Сама Белкина получила известие от С. Вишневецкой (жены Вс. Вишневецкого), та пришла навещать ее в роддом и сказала презрительно, что, в то время как вся страна воюет, Цветаева нашла время повеситься.

Интересно, что и Пастернак 10 сентября написал знаменитое письмо жене:

Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина. Я не хочу верить этому. Она где-то поблизости от вас, в Чистополе или Елабуге. Узнай, пожалуйста, и напиши мне (телеграммы идут дольше писем). Если это правда, то какой же это ужас! Позаботься тогда о ее мальчишке, узнай, где он и что с ним. Какая вина на мне, если это так! Вот и говори после этого о “посторонних” заботах! Это никогда не простится мне. Последний год я перестал интересоваться ей. Она была на очень высоком счету в интел <лигентном> обществе и среди понимающих, входила в моду, в ней принимали участие мои личные друзья, Гаррик, Асмусы, Коля Вильям, наконец Асеев. Так как стало очень лестно числиться ее лучшим другом, и по многим друг <им> причинам, я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе! Как это страшно. Я всегда в глубине души знал, что живу тобой и детьми, а заботу обо всех людях на свете, долг каждого, кто не

⁶⁰ Эфрон Г.Т. 2. С. 8.

⁶¹ См. приложение.

⁶² Чуковский К., Чуковская Л. *Переписка*. С. 306.

⁶³ Копия письма в архиве автора.

животное, должен символизировать в лице Жени, Нины и Марины. Ах, зачем я от этого отступил!⁶⁴

С Муром они встретятся через месяц в Москве.

В записных книжках от 15 сентября Гладков пишет: “Слухи о смерти Долматовского, <... > о самоубийстве М. Цветаевой. Наши войска оставили Кременчуг”⁶⁵.

Самоубийство Цветаевой переживалось и осмыслялось, видимо, всю войну и потом, но до нас дошли обрывки фраз и письменных свидетельств, которых было очень немного. Сикорская писала в дневнике, что получила письмо из Елабуги от Саконской и побежала с ним Союз писателей. Там даже создали комиссию, дабы найти могилу. Свидетельство выглядит невероятно. Просматривая бумаги Союза писателей, связанные с эвакуацией писателей в Чистополь, я не нашла ни одной официальной с упоминанием имени Цветаевой. Может быть, еще найдется.

Но самое странное, что след от того самоубийства остался в жизни Саконской и ее сына Лельки. Известно, что мальчики Вадим Сикорский, Александр Соколовский и Георгий Эфрон с недовольством смотрели на свое елабужское заточение. Еще на пароходе они стали изводить матерей тем, чтобы вернуться назад. После гибели Цветаевой и отъезда Мура произошло еще одно трагическое событие. Когда матери не было дома, Саша Соколовский соорудил петлю и успел уже затянуть ее на своей шее, но тут мать вошла в комнату и увидела его висящим. Он был еще жив. Маленькая хрупкая женщина стала вынимать юношу из петли. Последствия этой истории сказались на ее здоровье, Нина Саконская до конца дней не оправилась; вернулась в Москву горбатенькой. Прожила недолго, до 1951 года. Может быть, с этим событием и связано ее молчание, отсутствие воспоминаний о тех днях.

⁶⁴ Пастернак Б. *Письма к З. Н. Пастернак*. С. 180.

⁶⁵ РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Ед. хр. 133.

Мур в Чистополе. Сентябрь 1941 года

Начало сентября 1941 года. Идут дожди, на улицах Чистополя непролазная грязь. Калош нигде не продают.

Мур идет к Асееву, который потрясен смертью Цветаевой. Но тут же он сообщает Муру, что вынужден ехать в Москву, поэтому взять его к себе не может. Судя по дневникам нашего хроникера Виноградова-Мамонта, 15 сентября тот встречает сестер Синяковых, которые приглашают его в гости к Асееву.

По набережной Камы дошли до Соборного спуска. Сели на паром <...>. На носу сидели три женщины с узелками шиповника. Разговорились. Оказалось, это – сестры Оксаны Асеевой. Живут они <в Москве> в Скатерном <переулке>, 22!!! Против нас! Я поведал им о своей встрече с В. Хлебниковым <в Пятигорске 1921 года, осенью>. Зашло солнце. Мы высадились на берег. Поднялись в гору. Н. Н. Асеев утром работает и нигде не показывался. Чистополь ему нравится. Адрес его – ул. Володарского, 69. Мы получили приглашение к Асеевым и непременно воспользуемся⁶⁶.

Асеев оставался в Чистополе и делал все, чтобы пристроить Мура в интернат. Однако это было непросто, за интернат надо было платить, а Асеев вовсе не хотел брать оплату на себя. Он уговаривает юношу ехать в Москву в Литфонд с письмом. Неизвестно, знал ли Асеев о том, что в Москве уже никого не прописывают. Эвакуированных прикрепляли к тому месту, куда они выезжали.

“От Асеева веет мертвечиной”, – вдруг записывает Мур. “Как скучно живут Асеевы! У него – хоть поэзия, а у ней и у сестер – только разговоры на всевозможные темы”⁶⁷.

К и сентября все меняется, директор интерната Хохлов получает телеграмму из Москвы, что Мура можно зачислить, ему даже предлагается материальная помощь. В глазах Чистополя – Асеев главный благодетель, он помогает мальчику. Воспоминания об Асееве у чистопольцев сходятся почти у всех в одном: он старался что-то делать. Но несчастье – скупая жена, Оксана Синякова, жадность ее была общеизвестна. Ее замечали многие. Гладков вспоминал, как зимой голодала семья сестры Оксаны Веры Синяковой и Семена Гехта, он ходил по рынку, пытаясь продать белье своей жены, и там же ходил и Асеев, скупавший разные вещи за бесценок. Оксана тяжело восприняла такую обузу, как Мур. Берта Горелик спустя годы, после смерти Асеева, была лечащим врачом Оксаны Асеевой и говорила, что ее квартира была очень запущена, а под матрасом после ее смерти нашли пачки денег...

Наталья Соколова вспоминала о Муре в Чистополе:

В этот период несколько раз заходил к Жанне и Юре, я его видела, разговаривала с ним <...>. Это был высокий красивый юноша с хорошей выправкой, гордой посадкой головы и очень светлыми глазами. “Настоящий ариец”, как кто-то о нем шутя сказал. Аккуратный, подтянутый, вещи на нем ладно сидели, шли ему. Не располагал к фамильярности, панибратству, похлопыванию по плечу. Он казался замкнутым, холодным, пожалуй, даже высокомерным, но это, очевидно, было у него защитное – пусть не

⁶⁶ Виноградов-Мамонт Н. [Из дневника]. С. 114.

⁶⁷ Эфрон Г. Т. 2. С. 11, 14.

смеют жалеть, сочувствовать, оплакивать его горькое сиротство. Холодность, сдержанность были, конечно же, продиктованы гордостью, самолюбием⁶⁸.

А одна из сестер Синяковых, Надежда, писала в сентябре 1941 года в Москву близкому другу – писателю М. А. Левашову:

Милый Гулливер! <...> Живем мы хорошо. Мне здесь нравится, люди симпатичные, половина татар. Скучать некогда. Нас постигло несчастье, Цветаева лишила себя жизни, она повесилась.

Печально, очень ее жаль. По вечерам Коля читает ее великолепные стихи. Ее сын здесь живет в общежитии пионеров⁶⁹.

Мур стал заметной фигурой в Чистополе, о нем вспоминали многие. Трагическая судьба гениальной матери, его облик, так непохожий на окружающих – все привлекало к нему внимание взрослых, мальчиков и девочек. Юная Гедда Шор, бывшая в старшей группе школы-интерната, вспоминала, что влюбилась в него с первого взгляда.

Шел сентябрь сорок первого. Мы с Юрой Арго гуляли по Чистополю. <...> Мы с Юрой дружно смеялись, подходя к интернату. И тут я увидела идущего впереди нас молодого человека, незнакомого и явно нездешнего. Трудно понять, как я, глядя ему в затылок, сразу наповал влюбилась. “Кто это?” – испуганно спросила Юру. “Как, разве ты не знаешь? Цветаева... Елабуга... Ее сын Мур...” Дальше я уже ничего не слышала. Мы продолжали идти вслед за Муром, расстояние между нами не сокращалось <...>.

В Чистополе Мур прожил недолго. Добрая Анна Зиновьевна Стонова, старший педагог интерната, стараясь как можно скорее приобщить Мура к интернатской жизни, устроила своеобразные смотрины. Собрала всех старших девочек и пригласила Мура. Все чувствовали себя неловко и натянуто, общего разговора не получалось. Мур высокомерно молчал. Пытаясь спасти положение, Анна Зиновьевна сказала: “Мур, почитайте нам стихи вашей матери”. – “Я их не знаю”, – ледяным тоном ответил Мур, даже с каким-то вызовом. Между смертью Цветаевой и предложением, сделанным ее сыну, – “почитать стихи” – прошло всего несколько дней. Стонова не совершила бы такой бестактности, если бы не была сбита с толку самим Муром: его царственное высокомерие дезориентировало в такой степени, что, казалось, перед нами сидел не осиротевший (так страшно) мальчик, а самоуверенный красавец, сын знаменитой Цветаевой, милостиво разрешающий на себя смотреть... Стонова обращалась к нему на “вы”. Это было беспрецедентно: всем детям говорили “ты”. Но, обращаясь к Муру, взрослые не могли избежать интонации придворного учителя, говорящего с королем-школьником: “Ваше Величество, Вы еще не приготовили уроки”.

Мур казался совершенно взрослым. Так бывает с особенно породистыми детьми. Красота Мура была прежде всего красотой породы. Он был высок ростом, великолепно сложен. Большелобый и большеглазый, смотрел как-то чересчур прямо и беспощадно. Потом уже поняла: это был взгляд “рокового мужчины”, каковым он и был, должен был стать – кстати говоря, без всяких кавычек. Сегодня назвала бы его римлянином. Было в его взгляде много ума, надменности и силы. Сверстники до такой степени не были ему ровней, что ощущение собственного превосходства было неизбежно. Это прошло бы с

⁶⁸ См. приложение.

⁶⁹ РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 2. Ед. хр. 295.

возрастом. Тогда я только невнятно чувствовала, теперь знаю: достоинство, трансформированное несчастьем, часто выглядит высокомерием. (Все эти рассуждения не имеют никакого отношения к высокомерию злокачественному – уделу низкопробных душ нуворишей, сливколизателей и снобов.)

В те страшные, военные дни осени сорок первого мы все, от мала до велика, слушали сводки Совинформбюро. Но никто из детей не слушал их так, как слушал их Мур. Спросили бы меня тогда, как это “так”, – я бы не сумела ответить. Так слушали сводки раненые в госпитале. Потом я это увидела и сразу узнала. Узнала Мура, но не нашла слово. Сегодня это слово знаю: причастность. Что делало его причастнее сверстников, которым, как и ему, предстоял фронт? Его зрелость, опережающая возраст? Трагедия семьи, неотступное злосчастье, взорвавшееся самоубийством матери? Он, как те раненые в госпитале, уже был ранен.

Все это сегодняшние мысли. А тогда... Мур стоял под репродуктором в коридоре, прислонившись к стене, подавшись корпусом вперед, обе руки заведя за спину. Взгляд исподлобья, слушающий. Высокие брови, подпирающие тяжелый лоб. Стоя у противоположной стены узкого коридора напротив Мура, я смотрела на него: светлые глаза в черном ободке – как мишень, подумала я и страшно испугалась возникшего сравнения. Мур изумлял меня выбором своих общений со сверстниками: какое-то нарочитое упрощение, прямая ориентация на “спортсмедные лбы”. Один-единственный раз я видела, как он смеется⁷⁰.

Те двадцать дней, которые Мур был в интернате, он успел подружиться с Тимуром Гайдаром, как он сам об этом пишет, там было множество детей знаменитостей. Дети Зинаиды Пастернак – Леня и Станислав Нейгауз, ночью играющий на разбитом рояле, чтобы не потерять музыкальную форму.

Жизнь интерната только налаживается: средства, власть Хохлова – директора дома. Спустя несколько месяцев, в начале 1942 года, мальчики-подростки напишут горестное письмо

Фадееву в Москву о внутренней жизни детского учреждения; письмо коллективного Ваньки Жукова. А пока директор Литфонда Хмара предлагает Муру выехать в Москву. Рассказывает, что там открыты школы, говорит, что Союз писателей непременно ему поможет.

Дневники Мура можно было бы в традиции XVIII века назвать “Необычайная жизнь и злоключения Георгия Эфрона, сына знаменитого поэта Марины Цветаевой и неудачного агента советской разведки Сергея Эфрона, его приключения, рассказанные им самим”.

Трудно представить, что претерпел 16-летний подросток на дорогах эвакуации и войны. Выехал из Москвы в августе; тяжкий путь до Елабуги, где пережил смерть матери; приехал в Чистополь; затем попал снова в Москву до начала октября, когда все оттуда бежали, “добрые” дяди из писателей и писательского окружения послали его туда, чтобы он не мозолил глаза в Чистополе; Москва и через две недели эвакуация в Ташкент; унижительная тяжкая жизнь в Средней Азии, и снова Москва; три месяца учебы в Литинституте; фронт и гибель... Все, что можно было пройти, он прошел.

А Чистополь в эти дни озабочен заготовкой дров. Сводками информбюро. Хроникер Виноградов-Мамонт пишет в дневниках:

18 сентября. Четверг. <... > Целый день прошел в суете. Дрова, дрова и дрова – вот что в мыслях и “в ногах”, ибо ногами измерил пол-Чистополя по разным учреждениям. В 5 ч. у моего окна постоял Д. В. Петровский.

⁷⁰ Шор Г. *Война, семья, эвакуация*. С. 183–186.

Собирается в Казань – тоже хлопотать о дровах для Литфонда <...>. Днем шел дождь – я ходил в белых брюках – как гусь! Но гусиное настроение мое объясняется просто – жалею суконные брюки! Холод завернул такой, что хоть печку топи. Чистопольцы уже вытащили теплые вещи. Словом – зима на носу. Ну, что ж.

19 сентября. Пятница. Проснулся в шестом часу. Радио прохрипело: “Ожесточенные бои под Киевом... Противник прорвался на окраине Киева...” Тяжелые известия... Открыл окно: на улице холод, дождь, грязь. <... > Утром ходил в музей, на лесопильный завод, рассказал там о московских бомбежках <... > в горсовете у Тверяковой, в банке, в райкоме (шел разговор о сборе теплых вещей для Красной Армии). Вернулся домой в три часа и опять разговаривал о форсунках, опилках и других “дровяных” материях <...>. В 6 ч. пошел на собрание “руководителей учреждений”. Увидел секретаря райкома Воробьева, плотного, широкоплечего человека с бритой головой. Говорил повелительно, с нервом <...>. Сообщили о выдаче сахара, о теплых вещах, о дровах и пр. Словом, я вхожу в “государственную” работу <...>.

22 сентября. Понедельник. В 6 ч. узнал о сдаче Киева <...>, а в 8 ч. побрел на лесопильный завод. Мне сегодня повезло: лесопильный завод заключил со мной договор на 100 возов опилок. Разговорились с бухгалтером Рыбиным, узнал, что он – преображенец, солдат первой роты. Предались военным воспоминаниям. В награду Рыбин продал мне, однополчанину, кубометр дров <...>. На улице встретил Л.К. Чуковскую, она сказала, что ночью мимо Чистополя проплывут семьи ленинградских писателей. Я попросил узнать о жене Илюши Груздева – Татьяне Кирилловне. И совершенно забыл узнать о судьбе Анны Дм. Радловой.

23 сентября. Вторник. <...> Город волнуется из-за сахарной истории: везли нам баржу с сахаром и конфетами, но утопили у самого Чистополя. Итак, мы снова без сахара! <...> В музее беседовал с самоучкой-художником Макаровым. Он рассказал нам о жизни колхозной <...>. Вдруг постучал в окно Д. В. Петровский. Он только что вернулся из Казани. Обещали ему 4000 кубометров дров и столовую для Литфонда. Поднимал вопрос о журнале лит. художественном. Ярославский якобы вызывает Асеева в Москву. Зато сюда переезжает К.А. Федин <...>⁷¹.

Итак, мы с Муром временно покидаем Чистополь. Асеев останется, а юноша поплывет пароходом до Казани, оттуда – поездом в Москву. При нем чемоданы с рукописями матери, вещи. Много из вещей он продал сестрам Синяковым, но все равно кое-что осталось. Перед отъездом Асеев читал мальчику главы своей поэмы о начале войны. О путешествии в эвакуацию. Мур в дневнике записал, что она ему понравилась.

Тел неоплаканых груди,
Дум недодуманных дни, —
люди не любят чуда:
горы немытой посуды,
суды и пересуды,
страхи да слухи одни.
Так же стригут бородки,
так же влекут кули,

⁷¹ Виноградов-Мамонт Н. [Из дневника]. С. 115.

так же по стопке водки
лихо вливают в глотки,
так же читают сводки,
словно война – вдали.

Война влияла на советскую интеллигенцию. Писатели и поэты уже забыли, как выглядит Россия. И вдруг в эвакуации они буквально упали на землю, ощутили под ногами засасывающую, чавкающую грязь.

Сборник стихов Николая Асеева об эвакуации 1941-го был назван клеветническим и в конце 1943 года был подвергнут жесточайшему разному в ЦК ВКП(б).

В конце сентября Наталья Соколова и Жанна Гаузнер с сумками, кастрюльками и бидонами шли за литфондовским питанием. Встретили Мура, который сказал им, что собирается ехать в Москву. Узнал у Жанны адрес общих знакомых. Далее Наталья Соколова писала:

Мур простился с нами, перешел через улицу, меж вязкую грязь проезжей части, потом зашагал по деревянным мосткам, которые в Чистополе заменяли тротуар. Мы смотрели ему вслед. Юный, стройный, с высоко вскинутой головой и прищуренными глазами, он, казалось, не замечал одноэтажных деревянных домов с мезонинами и затейливыми резными наличниками окон, с розетками тесовых ворот, замурзанных ребятишек, которые гоняли в большой луже самодельный плотик, бабьей очереди с ведрами у водопроводной колонки. Жанна сказала с каким-то печальным недоумением: “Европеец, а вон куда занесло. Кто бы мог предсказать... И один. Совсем один”⁷².

Здесь нельзя не отметить, что и Жанна Гаузнер долго была парижанкой, она выросла и была воспитана в Париже, в двадцатилетнем возрасте приехала в Москву к матери Вере Инбер.

⁷² См. приложение.

Москва. Осень 1941 года Сентябрь-октябрь

В те дни, когда погибла Цветаева и эта новость докатилась до Москвы, бурно обсуждали еще одно событие – исчезновение Фадеева и его предполагаемое снятие с должности секретаря Союза писателей. Пастернак пересказывает жене самую мягкую версию.

Да, последняя новость – лишился всех своих постов твой друг и любимец Фадеев, хотя мне-то его по-человечески и дружески очень жаль. Он приехал с фронта, запил и пропал на 16 дней. Я думаю, такие вещи не случайны и ему самому, наверное, захотелось расстаться с обузами и фальшивым положением своих последних лет. Я не знаю, кто будет вместо него по Союзу, но в Информбюро (нечто вроде центральной цензуры и инстанции, которая распределяет печатный материал для Союза и заграницы) вместо него будет Афиногенов. Нас (меня, Костю, Всеволода Иванова и кое-кого еще) привлекут к более тесному сотрудничеству. В Москве сейчас совершенно спокойно, несравнимо с тем, что месяц назад⁷³.

Пастернак думал, что такое поведение Фадеева связано с угрызениями совести; он всегда пытался видеть в любом человеке те же побуждения, что и в себе.

До Чистополя новость доходит спустя две недели в абсолютно искаженном виде. Там уже как случившийся факт обсуждается новость о снятии Фадеева с должности секретаря ССП и исключении его из партии за непробудное пьянство. Однако Фадеева никто не исключал. 23 сентября вышло постановление политбюро о его наказании с объявлением выговора и указанием на то, что если повторятся его попойки, будет поставлен вопрос о “более серьезном взыскании”. Фадеева оставили в покое; пьянство в верхах большим пороком не считалось. Сам же Фадеев, по всей видимости, пережил тяжкий стресс, побывав на передовой.

Кирпотин, крайне недоброжелательно относящийся к Фадееву, писал жене: “Фадеева сняли с работы в Информбюро. Человек, экстренно вызванный с фронта, имея поручение, пропал больше чем на неделю. По причине известной писательской болезни”⁷⁴.

Первые дни войны потрясли многих, возвращение назад в московский быт было очень тяжелым. Однако Пастернака Кирпотин очень хвалил. “Пастернак, с которым житейски, в быту не встречаемся, мне в эти дни очень нравится. И представь себе, и стихи написал «идеологически выдержанные», хорошие, искренние, в которых все же некоторые редакторы пугаются”⁷⁵.

В это же время настигает несчастье Маргариту Алигер, ее друзья переживают одну трагическую новость за другой. В первые месяцы войны погиб ее муж – композитор Константин Макаров. Вера Инбер в военных дневниках пишет 15 сентября:

Поехали в город к Тарасенкову, в газету Балтфлота. Только поднялись вверх – тревога. Входит краснофлотец и говорит:

– Приказано всем идти в укрытие.

Мы двинулись по коридору В этот миг задрожал дом: бомба упала рядом, в Апраксином дворе. В убежище, в углу, под сводами Росси, Тарасенков разостлал свою шинель. Мы сели. Он вытащил из кармана пачку писем жены и стал мне читать. И удивительно, просто невероятно было слышать слова

⁷³ Пастернак Б. *Письма к З.Н. Пастернак*. С. 180.

⁷⁴ Кирпотин В. *Ровесник железного века*. М. 2006. С. 453.

⁷⁵ Там же. С. 456.

нежности и любви под гул и взрывы. Между прочим, жена сообщает, что муж Маргариты Алигер убит, а сама она вернулась в Москву⁷⁶.

А в конце сентября Ахматова на самолете отправляется в Москву. Ее должна была сопровождать Ольга Берггольц, но не смогла, и рядом оказалась писательница Н. А. Никитич-Никитюк, которая в своем письме к Фадееву упоминает это обстоятельство: “30 сентября 1941 года Ахматова и я из Ленинграда прилетели в Москву. Остановились мы у С. Я. Маршака, и там мы с вами встречались”⁷⁷. Значит, Фадееву, по всей видимости, было поручено опекать Ахматову.

Потом несколько дней Ахматова жила у сестры Ольги Берггольц – Муси, о чем существует несколько интересных свидетельств. Лидия Либединская передавала рассказ своего будущего мужа Юрия Либединского, который 5 октября должен был ехать на фронт в газету, к которой был прикомандирован. Он зашел к своей прежней жене – Мусе (они были в добрых отношениях). Она была актриса и в тот момент получила паек овощами. В ее квартире в Староконюшенном сидела, завернувшись в шаль, Ахматова, а вокруг нее лежали овощи. Репа, картошка, свекла, капуста и т. д. Ахматова была похожа на богиню плодородия. С ней пришел повидаться Пастернак. Перед тем он был в тире, на занятиях по обороне. Был радостный, очень возбужденно повторял, что стрелял и все время попадал в яблочко. Потом, когда он ушел, Ахматова сказала, что Пастернаку всегда четыре с половиной года.

Маргарита Алигер рассказывала эту же историю более подробно.

Эвакуированная из Ленинграда, она остановилась в Москве у знакомой молодой актрисы. Актриса в составе фронтовой бригады часто выезжала на концерты в подмосковные воинские части, в колхозы и совхозы, которые расплачивались с артистами натурой – овощами. Квартира была завалена кочанами свежей капусты, картошкой, тыквами, морковью и свеклой, и среди всех этих натюрмортов Анна Андреевна, чувствуя себя, как всегда, непринужденно, принимала своих гостей. Часто бывал Пастернак, как и все, потрясенный грозными событиями, много пишущий. На даче, где он жил, стояла воинская часть, и он был крайне увлечен непосредственным общением с молодыми военными людьми, много о них думал, часто рассказывал. Однажды приехал в крайнем возбуждении. Оказалось, что после учебной стрельбы знакомый командир разрешил и ему пострелять и поставил отметку “отлично”. Пастернак оказался метким стрелком. (Не тогда ли родились у него строки: “Он еще не старик и укор молодежи, а его дробовик лет на двадцать моложе”.) Он был так горд своим успехом, что о чем бы ни заходила речь, снова и снова возвращался к нему. Прощаясь, он еще раз похвастался, и Анна Андреевна ласково поддержала его: “Да, да, это замечательно!” А едва затворив за ним дверь, добавила: “Всегда четыре с половиной года!” Несколькими годами раньше она уже сказала то же самое:

За то, что дым сравнил с Лаокооном,
Кладбищенский воспел чертополох,
За то, что мир наполнил новым звоном.
В пространстве новом отраженных строф,
– Он награжден каким-то вечным детством...⁷⁸

⁷⁶ Инбер В. *Страницы дней перебирая*. М., 1977. С. 73–74.

⁷⁷ РГАЛИ. Ф. 631. Оп.15. Ед. хр. 644 (2).

⁷⁸ Алигер М. *Тропинка во ржи: О поэзии и поэтах*. М., 1980. С. 342.

Эмма Герштейн тот же сюжет рассказывала так:

В последние дни пребывания Анны Андреевны в Москве <...> я застала ее уже на Кисловке в квартире сестры Ольги Берггольц. Было много народу. Пришел и Пастернак. Анна Андреевна лежала на диване и обращала к нему слова чеховского Фирса: “Человека забыли”. Это означало: “Я хочу ехать в эвакуацию вместе с вами, друзья мои”⁷⁹.

Мур оказался в Москве в начале октября. Он встретился с Пастернаком, о чем они говорили – неизвестно. Скорее всего, Пастернак пытался говорить с ним о последних днях Цветаевой. Несколько раз Мур встречался с Оренбургом, тот был мрачен, объяснял, что ему ни в коем случае нельзя было возвращаться в Москву.

⁷⁹ Герштейн Э. О Пастернаке и об Ахматовой // *Воспоминания о Борисе Пастернаке*. М., 1993. С. 397.

Осень в Москве: Луговские. Белкина

Семья Луговских сначала не собиралась уезжать из Москвы. Татьяна Луговская писала своему другу драматургу Леониду Малюгину в Киров, куда уже были эвакуированы московские и ленинградские театры:

Спасибо вам, милый мой, за письма (и письмо и открытку я получила одновременно). Признаюсь, я поплакала изрядно и оттого, что вы нашлись, и оттого, что вы думаете обо мне и даже заботитесь.

Я отвыкла от поддержки и очень нуждаюсь в ней. Вы поддержали меня. Буду писать очень коротко – вот моя жизнь. <...> Брат лежит в больнице с больной ногой, и все заботы о моей бедной маме уже очень давно лежат на мне. К этому примешиваются еще разные меркантильные дела – ибо брат не работает совсем очень давно. Не работаю и я, как вы, наверное, успели догадаться. Я пожила с матерью на Лаврушинском, но путешествия с седьмого этажа с разбитой старухой оказались делом нелегким, и я изловчилась и перевезла ее на дачу, тут, по крайней мере, нет седьмого этажа. Это путешествие произошло около 1 августа, и с тех пор я веду жизнь довольно бездомную и тяжелую – в буквальном смысле слова, – потому что все для мамы я вожу из Москвы. Я все-таки вам скажу, что все было бы прекрасно, если бы я могла работать, и я горько жалею, что болезнь мамы не дает мне возможности для этого.

Спасибо за приглашение приехать в Киров, но тут у меня очень много людей, которые погибнут без меня, везти же их с собой нет никакой физической возможности и материальной. Да и бессмысленно, мать моя все равно помрет дорогой, а я ее люблю.

К тому же и оставить Москву я не в силах – этот город проявил больше выдержки и спокойствия, чем я могла думать. Мне, как старой москвичке, это особенно дорого.

И спустя еще две недели:

У меня все по-прежнему. Конечно, очень хочется пережить войну и умереть от старости. Но ничего не попишешь – время суровое, и надо к нему приноровиться. И я принаравливаюсь. Человек привыкает ко всему, а если у него есть хоть на копейку мужества и если он любит свой народ, он просто обязан вести себя достойно и спокойно⁸⁰.

С Малюгиным они были связаны до войны подробной перепиской, он жил в Ленинграде, она – в Москве. Его чувство к ней было безответным, она же к нему питала лишь нежное дружеское расположение.

В начале июля в Москву с Северо-Западного фронта неожиданно вернулся поэт Владимир Луговской, который был отправлен туда для работы во фронтовой газете. Поезд, в котором он ехал на фронт, был разбомблен в районе Пскова. Он пробирался через перекореженное железо, сквозь разорванные тела убитых и раненых, там были женщины и дети.

Спустя несколько лет после того, как вышла первая книга о ташкентской эвакуации, мне попала в руки часть выброшенного на свалку архива Рудольфа Бершадского. В крохотной тет-

⁸⁰ Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею*. М., 2001. С. 252–253.

радочке известный в те времена газетчик, направляющийся на фронт, описывал свою встречу 2 июля во Пскове с Луговским.

Встретил вчера Луговского, – писал он. – Ему исполнилось вчера 40 лет. Он обрюзглый, потный (капли крупные), несет валерианкой за версту.

Сказал мне, что пофанфаронил в день объявления войны, сообщив в НКО, что “с сего дня здоров”. А вообще – “органически не переношу воздушных бомбардировок”⁸¹.

Бершадский написал о нем еще несколько строк: брезгливо и отстраненно. Запомним это. С таким отношением тех, кто прошел войну, Луговскому придется жить все долгие годы войны и точить себя до самой смерти.

С фронта он попал в Кунцевскую больницу. Депрессия, потеря жизненных сил, потеря себя. В осенние дни в больнице он записывал свои мысли в маленьких книжечках.

Все небо в искрах и вспышках. Стекло скрежетание юнкерсов. Ракета. Могучие старые сосны. Падающие ветки. Убежище. Три цвета труб. Приезд Л. Бутылка вина. Концерт... Шторы. Странный свет в окнах... Пруды. Брошенные дорожки. Зенитные батареи. Правительственные дачи пусты. Неуют. Занавески. Запертые ворота. Собаки. Все больше и больше осень. После бомбежки, сбитые сучья, мертвые совы. Все ближе... Звонки после бомбежки... Отбой. Почти рассвет. Лампа под кроватью. Любимые книги... Маленький, условный мир вещей. Цветы в вазах. Светает. Скрежет сосен, и выходит силуэт из мрака. Вечером снова. Юнкерсы. Скрежетание. Удар, и в бледном небе последние разрывы... Прощание на обрыве. Моя экзальтация, смешная трагичность. Нет библиотеки. Все, что было счастьем, кажется пустым. Серые деревья. Древний, древний путь журавлей на юг. Над Москвой-рекой с крутизны ее обрывов, над заливными лугами летят косяки к теплым морям, а мне-то... и кто меня благословивший на это. Неужели... Все заросло, забыто и заброшено⁸².

Мария Белкина проводила Тарасенкова на фронт приблизительно в те же дни, когда уходил и Луговской, – 26 июня 1941 года.

До поезда я его не проводила, – писала она. – Когда мы поднялись из метро на площадь трех вокзалов, нас сразило зрелище – казалось, мы раздвоились, растроились, расчетверились, расдесятерились!.. Повсюду – у метро, и у вокзалов, и на тротуарах, и на мостовой – стояли пары он-она, прижавшись друг к другу, обхватив друг друга, неподвижные, немые, были брюхатые, и дети, которые цеплялись за полы отцовских пиджаков. Казалось, шла киносъемка и статисты были расставлены для массовки... Дальше меня Тарасенков не пустил – в августе я должна была родить⁸³.

Анатолий Тарасенков, литературный критик, ответственный секретарь журнала “Знамя”, был прикомандирован к Балтийскому флоту. После тяжелых боев под Таллином он вместе с группой писателей оказался в блокадном Ленинграде, где была создана оперативная группа при Политуправлении Балтфлота, руководимая Вс. Вишневским, в которой состояли Николай Чуковский, Александр Крон и многие другие писатели. В их задачу входило поддерживать дух блокадного Ленинграда патриотическими стихами и статьями в газете. В феврале 1942 года он

⁸¹ Архив автора.

⁸² Семейный архив Владимира Седова.

⁸³ Белкина. С. 412.

от голода заболел дистрофией, в госпитале его немного привели в себя. Всю войну он провел в Ленинграде и на Ленинградском фронте.

Мария Белкина до родов ездила за город в Переделкино на оставленную дачу Всеволода Вишневского и писала мужу на Ленинградский фронт. Уезжать она не собиралась, и Цветаева, с которой они случайно встретились в те дни, удивлялась ее хладнокровию.

Живу на даче у Всеволода, – писала она мужу на фронт, – дни непохожи на ночи... Белка рыжая, пушистая, раскачивалась на елке, такая – “невозмутимая природа, красую вечною сияет”. Кошка [так называли в семье мать Белкиной. – Н. Г.] город совсем не переносит, а я люблю его, такая чудесная военная Москва. Но здесь я отдыхаю – удивительно успокаивает природа. Езжу через день, либо на машине кто подвезет, либо поездом с отцом, у него за плечами рюкзак – возит продукты. Живем налегке – ничего с собой не взяла на дачу, только продукты. Приезжаешь в город, бежишь домой – радостно издали видеть наше дерево – оно стоит сторожем... <...> Вначале она [мать] психовала, посылала нас в метро – теперь привыкла. Все привыкли, стали спокойнее. Борис Леонидович дежурит на крыше и, по его словам, ловит “зажигательные бомбы”. Его вторая жена на Волге, он ездит к первой, у него уже сын призывник, уже побывал под Смоленском. Борис Леонидович шлет тебе привет, он ужасно смешной, посвящает меня в свои семейные дела, он ездит в город скромненько в поезде, а шикарный Костя – только на машине, дают же на бензин!

Твои товарищи по перу почти все в военной форме. Видела Степана Щипачева, он приезжал. Гольцев был в Москве, сейчас Симонов – везет же некоторым женам! Коля Вирта приехал из Ленинграда, где сидел в “Астории”, а в Москве получил первое боевое крещение. <...> Интересная какая жизнь, думала ли я в тот дождливый последний день до войны, что столько ночей буду проводить на даче. У Бориса Леонидовича смешная собака, как только раздастся сигнал тревоги, она бежит в щель...>⁸⁴.

Щели – это узкие ямы, вырытые в земле, – укрытие от бомбежек. Мария Иосифовна рассказывала, как местные переделкинские собаки, услышав вой самолетов, тут же неслись в щели.

Сын Пастернака, Евгений Борисович, был отправлен вместе со своим курсом под Смоленск на рытье окопов, но фронт так стремительно приблизился, что студенты едва успели на разбитых электричках добраться до Москвы. “Шикарный Костя” – изменяющийся на глазах соученик, Константин Симонов.

⁸⁴ Копия письма в личном архиве автора. См. у Белкиной тот же случай в “Скрещении судеб”: “...Я, завидя Пастернака, старалась сесть в другой вагон. Я не могла превозмочь робости, меня стесняло не только мое положение, но главное – о чем ему со мной говорить? Конечно, из вежливости он будет занимать меня разговорами, проклиная в душе! И я заранее представляла себе мучительные паузы, когда не знаешь, что сказать... Но однажды мы все же оказались в одном вагоне, и он, шумно и радостно со мной здороваясь, словно мы были с ним миллион лет знакомы, уселся напротив меня у окна. Оказывается, он видел меня не один раз, но ему казалось, что я ищу одиночества. Он так это понимает! Иногда так хочется быть совсем одному, и любое постороннее вторжение воспринимается почти как физическая боль... Он сам ищет уединения... Ему так надо сосредоточиться, подумать, но совершенно невозможно, он мечется между Москвой и дачей, собственно говоря, дача – это и есть теперь его дом, его рабочее место, но считается, что раз дача – то все едут *ins grum!* – без дела, без предупреждения, когда кому заблагорассудится, и вовсе не те, кого хотелось бы видеть, кто тебе нужен... Он не станет мне докучать своим обществом, он только хочет узнать, где Тарасенков, что с ним, и, пожалуйста, ему большой, большой привет и всякие добрые и самые лучшие пожелания... Он уверен, что все будет хорошо и мы все встретимся – обязательно встретимся! Иначе не может, не должно быть... Это так ужасно, война всех разбросала, все рушится вокруг! Порвалась связь времен... Люди теряют друг друга... Зинаида Николаевна где-то там, в каком-то татарском местечке под Казанью, а Евгения Владимировна с Женечкой уехала в Ташкент и даже не простилась, даже не успела сообщить, что уезжает, все было так внезапно, теперь даже нет времени присесть на дорожку...” (Белкина М. *Скрещение судеб*. М., 2005. С. 423–424).

Мария Белкина никуда не собиралась ехать до последнего дня. Правда, за несколько дней до рождения сына 18 августа 1941-го в письме Тарасенкову на фронт (он всячески уговаривает ее уехать) она все-таки рассматривает вариант поездки в Чистополь, потому что там две подруги – Софа Долматовская и Маргарита Алигер. Она предполагает взять себе маленькую дочь Алигер – Татьяну.

Милый песик! Опять пишу, не застала т. Рудного. Вызвонила Россельса, он только что отправил свою семью в Чистополь, где теперь Софа, Маргоша. Это очень маленький городок на Каме, 100 км от Казани, работу там найти нельзя, жизнь пока дешева. Я совсем не знаю, куда ехать. Билеты я смогу достать через коменданта и в Куйбышев, и в Чистополь. Не имея от тебя стандартной справки, ехать в Чистополь нельзя ни в коем случае, так как там крохотный городок и делать нечего. Имея на руках справку, буду жить со своей матерью и Танькой, проживать 800 р., т. к. меньше 900 р. твоей матери хотеть нельзя. Но долго ли я смогу вынести без работы – 24 свободных часа, без писем, не доходят, – трудно. Отец тогда будет жить у Шуры в Чапаевске. <... > Адрес литфондовских жен? Чистополь ТАССР. Почта востребования – Долматовская, Алигер, может быть я⁸⁵.

Всех рожениц отправляли на Арбат в роддом им. Грауэрмана, но рядом с ним все время разрывались бомбы. Он только чудом остался цел. В результате Белкиной пришлось рожать в Кремлевке, куда отправляли всех без разбора, так как “кремлевские жены” уже давно были в эвакуации. Сын родился в конце августа, а к началу октября Москва все более превращалась в осажденную со всех сторон крепость. Власть вела подспудную работу, готовилась сдача города. Все говорили о том, что не сегодня завтра в Москве будут немцы, а 12 октября, вспоминала Белкина, ее вызвали запиской в Союз писателей и предупредили, что сейчас есть возможность уехать нормально с ребенком и стариками.

Началась суета. Срочные сборы. Перед отъездом из Москвы она отправляет последнюю открытку своему мужу из их дома на Большой Конюшковской улице. Ощущение катастрофы. Того, что никогда им не вернуться к тому, что было:

Вот и все! Последний раз написала милое слово, милый адрес под старым тополем... Ну что ж... 13-го очень тяжелый день, все силы, какие были возможны... <... > Как сжимались зубы, как хочется взять винтовку. М<ожет> б<ыть>, Митька спасает мне жизнь, если бы не он, осталась бы драться за счастье людей, за разбитую молодость, за несчастную старость. Как хорошо было жить... Последний раз сижу за своим столом, в своей комнате, что впереди... и так я уезжаю на край света <...>. Последние впечатления о клубе, пьяный “Белеет парус одинокий” целует мне руки и говорит какие-то странные вещи, а рядом сумасшедший Володя Л<уговской>. Милый Павлик целует, Илюша Файнберг, Маргоша – попозже они приедут ко мне. Уже “ко мне” – куда ко мне?! Ташкент – вокзал?! Все страшно быстро, за один день! 3 часа ночи, гора вещей, забитые шкапы... <...> Как далеко мы будем друг от друга... еще один раз тебя увидеть. Привет Коле <Михайловскому>, его жену везут в Ташкент. Вот и все... Маша⁸⁶.

Спустя годы Мария Белкина вспоминала тот день, 13 октября, описанный в открытке:

⁸⁵ Копия письма в личном архиве автора.

⁸⁶ Там же.

Весь день я провела в Союзе в очереди за билетами, – писала Белкина, – оформляла эвакуационные документы, а ночью жгла письма. Их был целый мешок, писем писателей к Тарасенкову. Вишневский до самой смерти не простил мне, что я сожгла все его восклицательные знаки и многозначительные многоточия, которые в таком изобилии были рассыпаны в каждом его письме с финского фронта, а информации в этих письмах было не больше, чем в передовице “Правды”... Получив все, что требовалось мне и моим старикам для отъезда, я решила зайти купить что-нибудь в дорогу в буфете ДСП – так назывался клуб писателей на Поварской. В дубовом зале бывшей масонской ложи свет не горел, у плохо освещенного буфета стояли писатель Катаев и Володя Луговской, последний подошел ко мне, обнял. “Это что – твоя новая блядь?” – спросил Катаев. “На колени перед ней! Как ты смеешь?! Она только недавно сына родила в бомбоубежище! Это жена Тарасенкова”. Катаев стал целовать меня. Оба они не очень твердо держались на ногах. В растерянности я говорила, что вот и билеты уже на руках, и рано поутру уходит эшелон в Ташкент, а я все не могу понять – надо ли?.. “Надо! – не дав мне договорить, кричал Луговской. – Надо! Ты что, хочешь остаться под немцами? Тебя заберут в публичный дом ээсовцев обслуживать! Я тебя именем Толи заклинаю, уезжай!..” И Катаев вторил ему: “Берите своего ребеночка и езжайте, пока не поздно, пока есть возможность, потом пойдете пешком. Погибнете и вы, и ребенок. Немецкий десант высадился в Химках...⁸⁷

Москва в дни первых месяцев войны, как писал в дневнике Вс. Иванов, была похожа на развороченный муравейник.

Закрасили голубым звезды Кремля, из Василия Блаженного в подвалы уносят иконы. <...> На улице заговорило радио и уменьшилась маршировка. По-прежнему жара. Летают хлопья сгоревшей бумаги – в доме есть горячая вода, т<ак> к<ак>, чтобы освободить подвалы для убежищ, жгут архивы⁸⁸.

Москва постепенно пустела. Но главный кошмар был впереди – с 14 по 18 октября город пребывал в панике. Оставшиеся москвичи, кто с презрением, кто с тоской, а кто с облегчением, смотрели вслед бежавшим из города.

⁸⁷ Твардовский А.Т., Твардовская М. И. *Несгоревшие письма* / Публикация М.И. Белкиной. Послесловие В. А. Твардовской. Комментарии А. Твардовской // “Знамя”. 1997. № 10.

⁸⁸ Иванов Вс. *Дневники*. С. 78.

Второй вал эвакуации Казанский вокзал

*Я выжал сердце горстью на ладонь.
И что же увидел? Немножко горя
И очень много страха и стыда
За тех людей, что, словно цепь, стояли,
Прижавшись лбами к окнам коридора,
И за себя, несущегося ночью
По стыкам рельс усталых на Восток.*

Владимир Луговской Первая свеча

Писатели собирались в эвакуацию. Каждый день уходили эшелоны. В городе сжигались документы, пепел носился по улицам. Среди этого хаоса ходил Мур Эфрон, который еще и октября пытался прописаться в Москве. Но все вокруг уезжают. И неожиданно с ним происходит то же самое, что несколько месяцев назад было с матерью.

Не хочу ехать в Ташкент, потому что не знаю, что меня там ждет. Что со мною происходит? Каждое принимаемое мною решение автоматически подвергается автокритике, и притом столь безжалостной, что немедленно превращается в решение, диаметрально противоположное первому. Мое положение трагично. Оно трагично из-за страшной внутренней опустошенности, которой я страдаю. Конечно, это – трагедия. Не знаю, что думать, как решать, что говорить. Мысли о самоубийстве, о смерти как о самом достойном, лучшем выходе из проклятого “тупика”, о котором писала М. И.⁸⁹

Но тогда он обвинял ее, что она не знает, как себя вести, меняет решение каждый час. А теперь с ним происходило то же самое, и он с ужасом отмечал, что теперь ответственность за любое решение лежала на нем одном и давила его непомерным грузом.

14 октября 1941 года вышло несколько поездов из Москвы. На вокзале творилось нечто ужасное. Огромная вокзальная площадь была заполнена людьми и вещами. Общее настроение тех дней – “Москва сбесилась”.

Мария Белкина вспоминала:

Огромная вокзальная площадь была забита людьми, вещами; машины, беспрерывно гудя, с трудом пробивались к подъездам. Та самая площадь трех вокзалов, с которой я недавно провожала Тарасенкова в Ленинград. Но с Ленинградского вокзала уже никто не уезжал! С него некуда было уезжать... Все уезжали с Ярославского или – как мы – с Казанского. Мелькали знакомые лица. Уезжали актеры, писатели, киношники: Эйзенштейн, Пудовкин, Любовь Орлова (я случайно окажусь с ними в одном вагоне). Все пробежали мимо, торопились, кто-то плакал, кто-то кого-то искал, кто-то кого-то окликал, какой-то актер волок огромный сундук и вдруг, взглянув на часы, бросил его и побежал на перрон с одним портфелем, а парни-призывники, обритые наголо, с тощими котомками, смеялись над ним. Подкатывали шикарные лаковые лимузины с иностранными флажками – дипломатический корпус покидал Москву. И кто-то из знакомых на ходу успел мне шепнуть: правительство эвакуируется, Калинина видели в вагоне!..

⁸⁹ Эфрон Г. Т. 2. С. 39.

А я стояла под мокрым, липким снегом, который все сыпал и сыпал, застилая все густой пеленой, закрывая от меня последнее видение живой Москвы. Стояла в луже в промокших башмаках, в тяжелой намокшей шубе, держа на руках сына, завернутого в белую козью шкурку, стояла в полном оцепенении, отупении посреди горы наваленных на тротуаре чьих-то чужих и своих чемоданов, и, когда у меня окончательно занемели руки, я положила сына на высокий тюк и услышала крик: – Барышня, барышня, что вы делаете, вы же так ребенка удушите – вы положили его лицом вниз!¹

“Вокзал и круговерть чужого горя, / Отчаяньем отмеченные лица, / Удары чемоданов трехпудовых. / Сумятица... / И женщину выносят / Парализованную на носилках”, – писал Луговской в поэме “Первая свеча”, документально воспроизводя все, что происходило в тот день.

Татьяна Луговская вспоминала о том, сколь неожиданным был их отъезд.

14 октября 1941 года в 6 часов утра, после бомбежки, позвонил Фадеев и сказал, что Володя, в числе многих других писателей, должен сегодня покинуть Москву (брат ночевал в редакции “Правды”, и говорила с Фадеевым я).

– Саша, – сказала я, – а как же мама?

– Поедет и мама, – твердо заявил он.

– Но ведь Володя не справится с мамой, он сам болен...

– С ним поедешь ты, Таня, и Поля (домработница). Я вас включил в список. Такова необходимость. Я сам приеду с каретой Красного Креста перевозить маму на вокзал и внесу ее в поезд. Собирайте вещи. Через два часа вы должны быть готовы. Все. – Он положил трубку.

И действительно приехал. И действительно внес на руках в вагон маму...

Маму положили в мягком вагоне, а мы – Володя, я, Поля (Саша сказал, что она моя тетя) – ехали в жестком. Но я была все время с мамой, все десять дней почти не спала, разве что прикорну у нее в ногах. Мы ехали в купе с Уткиным – он был ранен, и с ним ехала его мама. Мягкий вагон был один на весь состав. В этом составе ехали деятели искусств и ученые.

Мамочка лежала красивая, в чистых подушках – мы с Полей об этом заботились – и всем кивала – здоровалась. Любовь Петровна Орлова была от нее в восторге⁹⁰.

Потом Фадеев, отправлявший в те памятные дни писателей, был заподозрен в том, что бежал вместе с “паникерами”. Он вынужден был оправдываться в докладной записке в ЦК, в нервной интонации которой чувствуется напряжение тех дней. Фадеев объяснял свой отъезд приказом ЦК и Комиссии по эвакуации для организации групп информбюро в Казани, Чистополе, Куйбышеве и Свердловске. Но, видимо, наверху царил такая неразбериха, что никто не помнил, кто какие указания отдавал.

Среди литераторов, находящихся в настоящее время в Москве, – писал в докладной записке в ЦК Фадеев, – распространяется в настоящее время сплетня, будто Фадеев “самовольно” оставил Москву, чуть ли не бросив писателей на произвол судьбы.

Ввиду того, что эту сплетню находят нужным поддерживать некоторые видные люди, довожу до сведения ЦК следующее:

<...>

⁹⁰ Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею*. С. 288.

Все писатели и их семьи, не только по этому списку, а со значительным превышением (271 человек) были лично мною посажены в поезда и отправлены из Москвы в течение 14 и 15 октября (за исключением Лебедева-Кумача – он еще 14 октября привез на вокзал два пикапа вещей, не мог их погрузить в течение двух суток и психически помешался, – Бахметьева, Сейфуллиной, Мариэтты Шагинян и Анатолия Виноградова – по их личной вине). <... >

За 14 и 15 октября и в ночь с 15-го на 16-е организованным и неорганизованным путем выехала примерно половина этих людей. <...> – Объясняя, где какие группы информбюро были созданы и куда поехали какие писатели, Фадеев иронизировал: – Писатели с семьями (в большинстве старики, больные и пожилые, но в известной части и перетрусившие “работоспособные”) поехали в Ташкент, Алма-Ату и города Сибири⁹¹.

Далее он объясняет ЦК, что за годы работы секретарем Союза писателей у него образовалось много литературных противников, которые и хотят выдать его сейчас за “паникера”.

Действительно, осенью 1941 года А. Фадеев со своей женой, актрисой МХАТа Анжелиной Степановой, оказался в Чистополе, где прожил около трех недель в конце октября – начале ноября.

Таким образом, в Москве в писательской организации не осталось никого из обладавших правом принимать решения. Пошел слух, что Фадеев попал в опалу, и ему пришлось оправдываться.

Провожала Луговских и Тамара Груберт, первая жена Луговского. Сама же она оставалась в Москве, с Бахрушинским музеем. После их отъезда она писала в письме Татьяне Луговской:

Татьянушка милая! Невеселое будет мое письмо. Проводив вас, Гриша взял бюллетень, а когда 16-го пошел на фабрику, оказалось, что она выехала. Т<ак> к<ак> в эти дни Москва совершенно “сдана”, сбесилась, то он, не дожидаясь билета, ушел с расчетом где-нибудь сесть на поезд. От него еще никаких вестей нет. Я его перед отъездом не видела (вернее, перед уходом). <...> На даче оставаться стало опасно. Главная база – метро, а вообще сейчас не страшнее, чем в июльские дни бомбардировки. Нам, москвичам, это уже стало привычно, но то, что пришлось пережить с 15–18 окт<ября>, – никогда не забудется. Такой стыд, такое негодование и такое разочарование. Поистине “утраченные иллюзии”. Отголоски ты найдешь в газетах, но это капли в море по сравнению с впечатлениями очевидца⁹².

Григорий Широков, первый муж Татьяны Луговской, был помощником режиссера и работал на “Мосфильме”. Он даже не знал, что киностудия выехала из Москвы. Паника была такая, что решения принимались “с колес”. Ему надо было своим ходом добираться до Алма-Аты.

И еще одна женщина провожала Луговских – мать его второй дочери, Милы, Ирина Соломоновна Голубкина. Она писала ему с дороги в Среднюю Азию, куда они ехали с дочкой, что с болью в сердце вспоминает ужасный тот отъезд. И что не представляет, что всех их ждет.

⁹¹ *Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКПб-ВКПб-ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917-1953* / Сост. А. Артузов и О. Наумов. М., 1999. С. 476, 477.

⁹² Семейный архив Владимира Седова.

Драматизм момента для Луговского был еще в том, что в одном вагоне с ним ехала Елена Сергеевна Булгакова, с которой они жестоко поссорились в сентябрьские дни. Фадеев ее устроил в эвакуацию.

Она даже ехала в мягком вагоне в одном купе с Софой Магарилл, – рассказывала Татьяна Луговская. – Та была так хороша! Ходила в стеганом халате длинном и со свечой в старинном подсвечнике.

Вот откуда образ свечи в Володиной поэме! Саша Фадеев ее (Е. С. Булгакову. – *Н. Г.*) провожал на вокзале. “Сердечный, славный друг, червонный козырь”⁹³.

Софа Магарилл – красавица, жена Козинцева, – в Алма-Ате Татьяна Луговская подружится с ней, и Софа сыграет большую роль в ее судьбе, даже не подозревая об этом. Но, к сожалению, назад в Москву она не вернется, в 1943 году умрет от брюшного тифа.

Язвительно был описан в “Первой свече” Фадеев в образе друга-разлучника. (Здесь приводится наиболее жесткий вариант поэмы.)

В то утро я, как должно, уезжал
Из матушки Москвы, согласно плана —
Большой и страшный, в мертвой синеве
Подглазников, я сплюнул на пороге
Жилища своего и укатил
Тю-тю, как говорится, по дорожке,
Набитой выше горла поездами,
Железной, безысходной, столбовой. <...>
Я вышел. По случайности была
Со мною, мертвым, в том же эшелоне
Знакомая одна, в большой, широкой
Медвяной куньей шубке. Рядом – друг,
Седеющий и милый от притворства.
Но что-то слишком медлили они,
Друг с друга глаз дремучих не спуская.
Он мужественным был, я – полумертвым, —
И коготочком стучала она
В холодное окно. А я все видел.
Все медлили они, передавая
Друг другу знаки горя и разлуки:
Три пальца, а потом четыре пальца,
И накрест пальцы, может быть, квадраты
Из пальцев, и кивок, и поцелуй
Через стекло. И важно он ходил,
Веселый, славный друг мой, словно козырь.

⁹³ Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею*. С. 294.

Поезд “Москва – Ташкент”

Поезд шел на восток. Мария Белкина посылала из поезда открытки мужу каждый день. Так они договорились, надеясь, что хотя бы одна найдет его. Открытки, письма приходили спустя месяцы пачками, сбивалось время, нарушался масштаб событий.

Милый мой, родной! – писала Мария Белкина. – Еду в Ташкент. Вот и все... Начинаю новую жизнь, без иллюзий и надежд. <...> Я уеду от тебя очень далеко, но мне кажется, так надо. Ведь у меня Митька. Сколько омерзительного эгоизма “жителей” вокруг. Полон вагон киношников – сволочи. Первый раз вчера поговорили по-человечески, зашли военные. Всю штатскую сволочь ненавижу, она меня тоже. Говорила с Зоценко и Козинцевым о Ленинграде. В Ташкенте мало хорошего меня ждет. <...> Переехали Волгу, долго смотрела на тот берег... Казань, переехали границу... Ну что ж. Выехала 14-го, проедем еще дней шесть... <...> Завидую вам, уважаю вас, все мысли с вами. <...> Пошлость, мерзость, можно задохнуться... Привет всем славным защитникам города Ленинграда. Крепко обнимаю. Маша⁹⁴.

Ее ожесточение против киношников было связано с тем, что они резко отличались от всех и поведением, и внешним видом. Яркие чемоданы с заграничными наклейками, легкая, светская болтовня – все это резко контрастировало с тем, что жило и двигалось за пределами поезда. Но главное – в ней говорила непримиримость молодости и то, что она из всех сил рвалась на фронт.

Татьяна Луговская, которая была здесь же, вспоминала:

Ехали в купе с Уткиным, его мамой-старухой и женой, вроде бы женой. Мы с ней по очереди спали на верхней полке. А Володя с Пролей ехали в другом вагоне. Поля приходила с подкладным судном, завернув его, никто и не знал. Володя все время стоял у окна с Зоценко, они говорили обо всем и так откровенно, что я пугалась⁹⁵.

Зоценко потом писал в письме к Сталину, что его несправедливо обвиняют в том, что он бежал из блокадного Ленинграда, на самом деле его буквально силой усадили в самолет и вынудили вылететь из города. Он был мрачен, об этом вспоминают все. Луговской в записных книжках пишет про “мертвое лицо Зоценко”.

И снова открытка с дороги. М. Белкина – А. Тарасенкову:

14.10.41. Раменское. Итак, мой родной, еду. 36 часов на ногах. Сейчас лежу. Мне всегда везет в последнюю минуту. Деньги получила накануне отъезда. До последней минуты была уверена, что еду в “телячьем”, а оказалась вместе со знатью в мягком. Ты понимаешь, что это для меня, и даже мама со мной, я отдохну. Митька лежит – кошка (мама) сделала ему удобный уголок, и он храпит. Ему не очень нравится тряска. Какое у него длинное путешествие. Ну что же, так надо. Папа едет в жестком, хорошо устроился. В общем, все хорошо, но сколько стоило нервов, и теперь стало легче – оторвались. <...> В вагоне премьерная публика... Эйзенштейны, Л. Орлова и другие.

⁹⁴ Копия письма в личном архиве автора.

⁹⁵ Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею*. С. 294.

Низко летят ястребки... Киношники сволочи – Бурденко, Комаров едут в жестком, а мальчишки в мягком. С одним поругалась. Рядом Туся Луговская везет разбитую параличом мать. Стояли сейчас опять в поле, выносила Митьку гулять. Кончаю писать 15-го, поезд идет, проехали опасные места. <...> Связь с тобой потеряна. Увы, я не киношница и очень все переживаю. Привет Всеволоду и Коле. Маша⁹⁶.

Они оказались в одном вагоне поезда – М. Белкина и давний друг А. Тарасенкова Владимир Луговской, с которым они были дружны еще с юности, а последние годы вместе работали в “Знамени”. Белкина хорошо знала его по Литинституту, который окончила незадолго до войны. Луговской вел там поэтический семинар.

Как правило, они открывали все праздничные вечера в институте – их вальсирующая пара. Она была высокая и прекрасно танцевала, он тоже – высокий и элегантный. Она, смеясь, рассказывала, что их выбрало институтское начальство, потому что они подходили друг другу по росту.

Теперь же Луговской был совсем другим, он ехал в эвакуацию в состоянии тяжелой депрессии; с ним были смертельно больная парализованная мать и сестра Татьяна – театральная художница, младшая в семье, которая стала их основной опорой.

Татьяна Луговская и Мария Белкина подружились в поезде. Когда-то, в 1920-е годы, Анатолий Тарасенков учился в подмосковной колонии, директором которой был отец Татьяны и Владимира Луговских, Александр Федорович, преподаватель литературы. Тарасенков был юношески влюблен в Таню, а с Володей дружил с тех самых лет.

Луговской послал с дороги дочери Маше (в семье ее звали Муха) в чистопольский интернат открытку.

Милая, родная моя дочка! Я и бабушка уехали в Ташкент. Сколько времени мы там пробудем – неизвестно. Сейчас наш поезд стоит в Куйбышеве. Я слышал от мамы, что ты скучаешь, волнуешься. Я тебе буду писать все время, а если переменится адрес твой или мой – мы сейчас же друг другу об этом сообщим. Поздравляю тебя с днем рождения, грустно, что не могу подарить тебе ничего. Сейчас суровое военное время – ты уже не маленькая девочка – держись крепче. Я тебя очень люблю, очень помню. Буду надеяться, что мы скоро увидимся. <...> Целую тебя тысячу раз – милая, любимая Муха. Твой Папа⁹⁷.

Поезд шел долго. В коридорах – нескончаемые разговоры о войне, ее начале, ее возможном конце. Говорили тихо, полупшепотом. Времени было много. Поезд шел одиннадцать дней. Татьяна Луговская вспоминала:

У нас был общий котел, что-то варили. Всем заправляла Орлова, ее на каждой станции встречали, даже на маленьких. Она тогда была очень популярна. И что-то давали – крупу, муку, наверное⁹⁸.

А Мария Белкина, напротив, была полна негодования по поводу знаменитостей.

Я совсем стала больная, морально меня отравила война – я не могу видеть огни за окном и пустые разговоры киношников, я только думаю о фронте и ее страшном исчадь – войне. <... > Поезд полон громких имен, поругалась с двумя – один оказался Пудовкиным, другой – Эрмлером. Чудные

⁹⁶ Копия письма в личном архиве автора.

⁹⁷ Семейный архив Владимира Седова.

⁹⁸ Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею*. С. 289.

старички, академики... <...> Если бы не Митька, я ушла бы на фронт или пустила бы пулю в лоб... Россия... а кругом бабенки вроде Л. Орловой хохочут, говорят пошлости, и модные пижоны тащат сундуки... Почему так должно быть?! Как тоскливо... <...> Маша⁹⁹.

Ключевыми словами ее открыток и писем станут именно эти – “стала больная”, “морально отравила война”. Она говорила, что какое-то время в начале войны чувствовала помутнение сознания, потерянность, депрессию. Оттого столько резких, часто несправедливых слов. Спустя годы о том же путешествии она напишет гораздо теплее.

Наш эшелон шел одиннадцать дней, но мне повезло, я попала в привилегированный эшелон – увозили из Москвы Академию наук, и самым старым в поезде был президент академии Владимир Леонтьевич Комаров, самым молодым – Митька Тарасенков, ему было шесть недель. В нашем вагоне был собран весь цвет тогдашней кинематографии: Эйзенштейн, Пудовкин, Трауберг, Рошаль, Александров, Любовь Орлова, и проводник на остановках хвастался, что вон сколько пассажиров перевозил на своем веку, но такого, чтобы ехали вместе и сам “Броненосец «Потемкин»”, и “Юность Максима”, и “Веселые ребята”, и “Цирк”, еще не бывало! Главное, конечно, были “Цирк” и “Веселые ребята”. За одну улыбку Орловой и за песенку, спетую ею, начальник станции был готов сделать все, что мог; правда, мог он не так уж много, но все же добывался откуда-то давно списанный, старый, пыхтящий, дымящий паровоз, и нас с запасных путей, на которых мы бы простояли неведомо сколько, дотягивали до следующей станции, а там повторялось все сызнова. И, должно быть, по селектору передавалось, что именно в нашем вагоне едет Любовь Орлова, потому что на полустанке, где поезд задерживался на минуту, даже ночью проводника атаковали молодые любители кино, умоляя показать Анюту из “Веселых ребят”, Дуню из “Волги-Волги”, Марион из “Цирка”! Так, благодаря Орловой (киношники ехали в Алма-Ату и где-то в Азии нас покинули), мы добрались до Ташкента за одиннадцать дней. А в общежитии пединститута, где нас сначала разместили и куда каждый день прибывали москвичи с фабрик, заводов, из Военной академии имени Фрунзе, мы узнали, что тащились их эшелоны по двадцать пять, а то и тридцать дней¹⁰⁰.

Хроника путешествия продолжала писаться в ее открытках.

Милый, родной! Еду в Ташкент. Еду уже 6 дней. Еще не проехала половины пути. Но мне все равно, если бы сказали ехать месяц – так месяц, два – так два. Все корабли сожжены... Возврата к старому нет. Впереди ничего нет... Стихи, вырезки все со мной, но наши вещи, старый дом, под тополем, оставлен. Как бы хотелось поджечь... Еду с Зоценко, Луговским, последний совсем болен. Гуляю с Митькой в Оренбурге. <...> Еду степью, безбрежной. Киргизы, верблюды. Пожелтевшие степи... Азия... Выехала из Москвы 14-го утром, был снег, слякоть, мерзли в шубе. Сейчас солнце, тепло. Проехали половину пути, торопиться не хочется, ждет мало радости. Как далеко от тебя и до фронта... Но так должно быть. Тяжело... Ждут, наверное, бараки, Союз писателей не позаботился... Обогнал нас поезд с Виртой и Афиногеновыми – им-то там будет хорошо. <...> Книги остались в шкафах, завалила их журналами, забила гвоздями. Все осталось в старом доме, как

⁹⁹ Копия письма в личном архиве автора.

¹⁰⁰ Белкина. С. 507.

было. <...> Володя Луг<овской> совсем стал психопатом... Любовь Орлова, Эйзенштейн, Бурденко... Все могло бы быть забавным, если бы не было трудным. Ужасно, но надо заниматься бытом в Ташкенте, завидую вам, вы какие-то очищенные¹⁰¹.

Афиногеновы – это семья драматурга, жена Дженни и ее мать. А сам Афиногенов – человек странной судьбы: в свое время он был одним из руководителей РАППа, его пьесы ставили в пример М. Булгакову, потом – опала, одиночество, ожидание тюрьмы и гибели, и вдруг – внезапное прощение от высшего руководства. А 29 октября 1941 года на Старой площади возле здания ЦК он будет убит разрывом бомбы. “А его мать <... > будет эвакуирована в Ташкент и там станет нянчить моего сына, и у меня не хватит мужества сказать ей о гибели ее сына...”¹⁰², – писала в своей книге Мария Белкина.

Милый Толя. Еду уже девятые сутки. И каждый день пишу тебе и разбрасываю <...> по станциям письма к тебе. За окном тянется степь голая, неприютная... Сыр-Дарья течет скудная, медленная... Долго смотрела на Волгу, казалось, переехала границу... М<ожет> б<ыть>, завтра будем в Ташкенте. Там уже Вирта и другие знатные. <...> Все мысли, все слова остались в Москве, в Ленинграде. Еду как мумия, из которой вынули душу и сердце... Далек ты теперь от меня. Маша¹⁰³.

Эта открытка была надписана рукою Татьяны Луговской: “Толя, целую тебя. Туся”. Рядом стояли две буквы – “В. Л.”! На большее Владимир Луговской не решался, он не представлял, как к нему отнесется старый друг.

¹⁰¹ Копия письма в личном архиве автора.

¹⁰² Белкина. С. 440.

¹⁰³ Копия письма в личном архиве автора.

Поезд (продолжение) Фронт – эвакуация

Моральное противостояние фронта и тыла, фронта и эвакуации, воюющих мужчин и тех тыловых крыс, которых, как считали фронтовики, они закрывают своими спинами, было так же остро в писательской среде, как и во всем советском обществе тех лет.

Среди писателей были воюющие и те, кто лишь изредка появлялись в расположении войск, пописывали отчеты и статьи в газеты; были те, кто погибал на передовой и в блокадном Ленинграде, и те, кто навещал время от времени погибающий от голода и холода город. Потом были уравниены все. В письме к Марии Белкиной в Ташкент от 30 ноября 1941 года Тарасенков писал:

Сообщи о друзьях, кто где? Маргарита уже с тобой? Крепко целуй ее. Где Пастернак, Асмус, Лапин, Хацревин? Ходит слух о гибели Долматовского. Правда ли это? Только псевдодрузьям – беглецам типа Вирты – Луговского – Соболева приветов не передавай. После войны выгоним их из ССП¹⁰⁴.

Пастернак поедет в Чистополь, двух писателей, Лапина и Хацревина, убьют на фронте, а Долматовскому удастся выйти живым из окружения, однако слухи о его предполагаемой гибели обойдут писательское сообщество.

Натяжение “фронт – эвакуация” уже хорошо видно из текста письма из блокадного Ленинграда. Вирта и Соболев фронт посетили и превратились в писателей, прошедших войну, а Луговского возмущенное общественное мнение тех лет называло трусом, дезертиром в глаза. Когда на всех фронтах произошел перелом, ему стали активно предлагать вылететь – “приобщиться” к военным победам, он наотрез отказался. Был сознательный выбор – оставаться вне войны и пройти то, что выпало на его долю, до конца.

В те долгие дни Луговской рассказал Марии Белкиной откровенно все, что с ним случилось на войне. Он выбрал для исповеди женщину, которая недавно проводила мужа на фронт, оставшись с грудным ребенком на руках, ни минуты не сомневающуюся в том, что место мужчины на фронте. Он открывается ей, обнажая душу.

Он много раз возвращался к своей исповеди, – рассказывала Белкина. – Главное, что он пытался донести до меня, – это ощущение, что тот шок, катастрофа изменили его абсолютно. Он не знал, что с собой делать дальше, как ему быть с собой таким, каким он стал теперь. Он словно перешел на какой-то другой уровень и, оглядываясь, не узнавал все то, что раньше окружало его. Я не жалела его, этот красивый человек вообще не мог вызывать жалости, я вдруг как-то глубинно стала понимать, что бывает и такое. Я, которая кричала всем и каждому – на фронт, на фронт, вдруг остановилась перед неведомым для меня. Я как-то вся стала внутренне сострадать его беде. Он никогда не был жалким, никогда. Его облик, прямая спина не позволяли представить его жалким, но он вдруг стал глубоко изменившимся. Исчезло все внешнее, наигрыш, актерство – он ведь и всегда немного актерствовал, позировал – и вдруг нет ничего. Белый лист, надо начинать жить сначала. А как жить?

Конечно, он держал в сознании, и что она жена Тарасенкова, и что она связана со многими общими друзьями из литературного мира; он чувствовал, что, пробившись к ней, будет услышан и ими. Но ему были нужны ее лицо, ее глаза. Ему хотелось быть услышанным той, которая не испытывает к нему никаких особых чувств и даже осуждает его.

¹⁰⁴ Там же.

Спустя некоторое время, уже находясь в Ташкенте, Луговской записал в своем дневнике: “Величие унижения, ибо в нем огромное расвобождение”.

Потом в поэме “Алайский рынок” родился образ Нищего поэта, просящего на базаре милостыню у тех, кто помнит его стихи, его выступления на сцене. И вот он освободился от всего прежнего, от дешевого опыта, от лжи, от позы, от всего материального благополучия. Это настоящий юродивый: “Моя надежда только отрицанье, – говорит он. – Как завтра я унижусь, непонятно”.

26 декабря 1941 года друг Луговского по восточным походам 1930-х годов, Всеволод Иванов, находящийся здесь же, в Ташкенте, писал ему:

Дорогой Володя! Берестинский любезно хотел присовокупить меня к тому урегулированию вопроса об военнообязанных. Уф! Официальные фразы для меня все равно что питаться саксаулом.

Словом, если ты имеешь возможность сообщить мне что-либо об этом, сообщи. Я здоров; хотя и принимаю лекарство. Но это потому, что мне трудно писать большие повести – а она большая, а меня все время теребят, – гр-м статьи!.. Молись обо мне, грешном! Всеволод <Иванов>. Ташкентец!¹⁰⁵

А 2 января 1942 года в ташкентской больнице Луговской был снят с армейского учета по болезни. Ольга Грудцова в своих воспоминаниях, которые были написаны в форме письма-исповеди, письма – любовного признания к умершему поэту, писала:

Тебе передали, что Сурков в Литературном институте сказал: Луговской на фронте заболел медвежьей болезнью. Как ты плакал! Мягкий, добрый, болезненно воспринимавший зло, ты не вынес грохота бомб, крови, тебя полуживого привезли с фронта. Всем простили спокойную совесть, с которой люди устраивались в тылу, ловкость, с которой добывали брони, ты же не обязан был воевать, но тебе не простили ничего. Не простили твоих ружей и сабель, выставленных вдоль стены в кабинете, твоих рассказов о борьбе с басмачами... Они до сих пор считают, что ты их обманул. Где им понять, что ты сам в себе обманулся и что это больнее, чем ошибиться в другом! Кто из них подумал, как тебя сжигал стыд и что поэтому тыпил беспробудно. Они-то ведь никогда не испытывали позора, все они были довольны собой¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Семейный архив Владимира Седова.

¹⁰⁶ Грудцова О. Довольно, я больше не играю... // *Минувшее: Исторический альманах*. Т. 19. М., 1996. С. 74.

Москва. 16 октября

К началу октября почти все, кто собирался выехать, уже уехали. Но чем ближе немцы подходили к Москве, тем противоречивее вела себя власть. Граждан предупреждали: если они останутся, это будет означать, что они дожидаются немцев. Тех же, кто эвакуировался, презрительно звали дезертирами.

Все усугублялось тем, что ни радио, ни газеты не сообщали о том, что происходит на самом деле на фронтах, и октября газеты вышли с угрожающими заголовками, к примеру: “Кровавые орды фашистов лезут к жизненным центрам нашей Родины, рвутся к Москве. Остановить и опрокинуть смертельного врага!” На улицах метет поземка.

На Центральном аэродроме Сталина постоянно ждал специальный самолет. На железнодорожной платформе вблизи завода “Серп и молот” находился специальный поезд для его эвакуации. В Куйбышеве для Сталина было подготовлено жилье в бывшем здании обкома. На берегу Волги отремонтировали несколько дач, под землей соорудили колоссальное бомбоубежище.

С первых же дней войны НКВД высылало заключенных подальше от фронта. Огромное количество составов с арестованными и ссыльными заняло железнодорожные ветки, необходимые для перевозки солдат и вооружения.

С конца сентября на Лубянке стали готовиться к подрывам, поджогам большого количества зданий. В документах ФСБ, ныне рассекреченных, приводятся списки объектов, подлежащих уничтожению в первую очередь. Правда, нигде не оговаривалось, что будет с людьми, которые останутся в домах. Единственное указание – не поджигать здания ночью, чтобы не было большой паники. К документу прилагались списки зданий НКВД:

...Дома №№ 2, 11, 12 в Лубянском квартале и по другим адресам в Москве (Бутырская, Таганская, Сухановская и Лефортовская тюрьмы); перечислены здания высших партийных органов; объекты военного ведомства (командные пункты по улице Кирова и у Белорусского вокзала, Военная академия им. Фрунзе, Военно-воздушная академия им. Жуковского); Дом правительства, Центральный телеграф, телеграфная станция и почтамт; наркоматы путей сообщения и тяжелой промышленности; торговые учреждения (ГУМ, Даниловский, Дзержинский и Таганский универмаги, магазин спецторга на Кузнецком мосту); гостиницы “Савой”, “Ново-Московская” и “Селект”. На каждом из указанных выше объектов для поджога здания предполагалось использование бидонов и бутылок с горючей смесью (от 2 до 6 бидонов, от 5 до 30 бутылок). По всем объектам были подготовлены бригады из сотрудников НКВД, саперов, пожарных, подрывников и бойцов истребительных отрядов¹.

В Измайловском парке группа, руководимая Павлом Судоплатовым и Зоей Рыбкиной (будущей писательницей Зоей Воскресенской), готовила к закладке боеприпасы по всему периметру парка. Кроме того, в городе оставляли диверсионно-террористические группы, которые под видом представителей самых разных слоев советского общества должны были осуществлять агентурные задания. Среди этих групп были и писатели, журналисты, художники, которые, видимо, уже до этого состояли на службе в НКВД. Например, в документах приводится некий агент Шорох: “Журналист, профессор литературы, бывший провокатор царской охранки; бывший белогвардейский журналист. Оставляется в тылу с разведывательными заданиями и организации нелегальной антифашистской печати. Прикрытие – восстановление изда-

тельства Никитина, с женой которого он имеет соответствующую договоренность”¹⁰⁷. Кто это – установить не удалось.

16 октября по приговору тройки НКВД был расстрелян Сергей Эфрон, в списке он шел под номером один – отец Георгия Эфрона, блуждающего в это время по Москве. В этот день юноша видит и слышит то же, что и остальные:

Положение в Москве абсолютно непонятно. Черт и тот голову сломит: никто ничего не понимает. События, кстати, ускоряются. Каковы же факты трех последних дней? Огромное количество людей уезжают куда глаза глядят, нагруженные мешками, сундуками. Десятки перегруженных вещами грузовиков удирают на полном газу. Впечатление такое, что 50 % Москвы эвакуируется. Метро больше не работает. Говорили, что красные хотели минировать город и взорвать его из метро, до отступления. Теперь говорят, что метро закрыли, чтобы перевозить красные войска, которые оставляют город. Сегодня Моссовет приостановил эвакуацию. В шесть часов читали по радио декрет Моссовета, предписывающий троллейбусам и автобусам работать нормально, магазинам и ресторанам работать в обычном режиме. Что это означает? Говорят, что Большой театр, уехавший три дня назад, остановлен в Коломне и их бомбят. Писатели (союз) находятся в каких-то 50 км от Москвы, и их тоже бомбят. Президиум союза удрал, кто самолетом, кто на автомобиле, забрав деньги тех, кто хотел ехать в Ташкент. Это безобразие. Кочетков не уехал. Ничего не понять. Говорят, военкоматы отвечают людям, которые хотят идти на фронт защищать Москву: “Возвращайтесь и сидите дома”¹⁰⁸.

28 октября он все-таки выезжает с Кочетковым в Ташкент. Так снова круто меняется его судьба.

По дорогам, ведущим на восток и юг, шли толпы с тюками, чемоданами, узлами. Остались записи о тех днях в дневниках простых москвичей:

Шестнадцатого октября шоссе Энтузиастов заполнилось бегущими людьми. Шум, крик, гам. Люди двинулись на восток, в сторону города Горького... Застава Ильича... По площади летают листы и обрывки бумаги, мусор, пахнет гарью. Какие-то люди то там, то здесь останавливают направляющиеся к шоссе автомашины. Стаскивают ехавших, бьют их, сбрасывают вещи, расшвыривают их по земле. Раздаются возгласы: “Бей евреев!”¹⁰⁹

В тот день были отмечены случаи разграбления магазинов, нападения на продовольственные склады.

“Вечерняя Москва” рассказывала о расправе над беженцами в заметке “Перед лицом военного трибунала”. Утром 18 октября на окраине города проезжали грузовики с эвакуированными. Дворник Абдрахманов с компанией напал на один такой грузовик. Хулиганы бросали в машину камни. Когда же машина остановилась, они вытащили из нее пассажиров, избili их и растащили вещи. Милиция с помощью граждан задержала пятнадцать бандитов. Зачинщиков нападения трибунал приговорил к расстрелу.

В эти октябрьские дни поступает требование ко многим гражданам Москвы уходить пешком из города. Об этом пишет в записных книжках А. Гладков. Арбузовская студия, где до

¹⁰⁷ Там же. С. 89.

¹⁰⁸ Эфрон Г. Т. 2. С. 51.

¹⁰⁹ Андреевский Г. *Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930-1940-е годы*. М., 2003. С. 144.

последнего момента репетировали студийцы, успела устроиться в последний эшелон, уходящий от Союза писателей.

Не буду описывать тебе знаменитый день 16 октября, – писал А. Гладков брату, – когда в сводке Совинформбюро появилось сообщение о прорыве фронта под Москвой, – это тема для романа. Мне было предписано “эвакуироваться” с Союзом писателей, и в конце октября я после долгих обсуждений этого вопроса на семейном совете уехал вместе с Тоней и Арбузовым (с нами также были студийцы – Сева Багрицкий – сын поэта – весной 42-го г. он был убит на С[еверо] – з[ападном] фронте, и Лева Тоом, сын критика Лидии Тоом) в последнем писательском эшелоне через Казань в Чистополь, избранный официально местопребыванием Союза писателей¹.

Тем временем те, кто застал Союз писателей, в эти дни были потрясены увиденным. Вот как передает Борис Рунин рассказ писателя Виктора Александровича Сытина о том, что он застал в Союзе писателей:

Окна в “доме Ростовых” были распахнуты настежь, в то время как входные двери оказались наспех заколочены досками. Приложив некоторые усилия и отодрав их, Сытин все-таки проник внутрь и застал там беспорядок, граничащий с хаосом. Повсюду пахло гарью, валялись клочки разорванных и полусожженных бумаг, осенний ветер ворошил на полу кучки пепла. Выдвинутые ящики столов, раскрытые шкафы, разбросанные папки – все в безлюдных помещениях союза свидетельствовало о поспешном уничтожении архивных материалов и текущей документации, о стремлении как можно скорее ликвидировать обширную писательскую канцелярию, предать огню бесчисленные протоколы, инструктивные письма, творческие отчеты, различные списки и т. д. Ведь союз уже тогда превратился в департамент по делам литературы.

Тем более удивляло полное отсутствие кого-либо из здешних сотрудников. Виктор Александрович тогда еще не знал о панике, охватившей Москву 16 октября, и о приказе, согласно которому руководство союза во главе с Фадеевым вынуждено было экстренно покинуть столицу¹¹⁰.

Большая часть писателей погибла под Смоленском, а Рунин попал вместе с несколькими товарищами в окружение под Вязьмой и три месяца шел к Москве. Днем, спасаясь в лесах и перелесках, обходя населенные пункты, передвигались только ночью, питаясь кореньями и ягодами. По пути им попадались такие же, как они, полуголодные солдаты, выходящие из окружения. Иногда они шли вместе, иногда пути расходились. Кто-то напарывался на немцев и был убит. Дойти до своих было ужасно тяжело, но еще тяжелее было доказать своим, что ты не дезертир.

В эти же дни в Москве появился вышедший из окружения Даниил Данин (он тоже ушел 11 июля вместе с писательской ротой).

¹¹⁰ Рунин Б. *Мое окружение*. С. 83. В начале ноября Борис Рунин и его товарищи, вышедшие из окружения, сумели прорваться в Москву. Им необходимо было доказать самым различным компетентным органам, что они не дезертиры и не шпионы. В РГАЛИ обнаружилось их письмо, направленное в оборонную комиссию Союза писателей. “Дорогие товарищи! – писали они. – Считаем необходимым сообщить некоторые сведения о своей судьбе. Вначале сведения о своей судьбе. В начале октября наша часть после упорного боя попала в окружение. Месяц мы – Фурманский и Рунин в содружестве с одним товарищем из МГУ – пробыли на территории, занятой противником. Твердо решив выйти из окружения и избежать плена, мы шли по компасу на восток в течение тридцати суток. Прошли по тылам немцев километров пятьсот, обходя насыщенные противником районы и преодолевая всякие препятствия. Стали мы опытными бродягами и, думаем, неплохими разведчиками. Во всяком случае, собранное нами представляет не только литературный интерес”.

На одиннадцатый день выхода из окружения, – вспоминал он, – я добрался поздно вечером 15 октября 41-го до станции в Наро-Фоминске. Сел в последний поезд, шедший без огней, и затемно в 6 утра приехал в Москву. То был знаменитый “день патриотов”, когда тысячи учреждений, заводов, контор перестали работать и начали бежать на восток из Москвы. Потом рассказывали, что 16 октября наш вождь и учитель тоже рванул куда-то под Ногинск. Метро не работало – то ли еще, то ли уже. В слякотно-снежных предрассветных сумерках я пер от Киевского к Земляному валу пешком в разбитых фронтовых ботинках. Дома напугал своим появлением и видом няню, которая не знала, ни чем поить меня, ни чем кормить. По раннему часу дозвонился до брата Гриши. Он сказал, что их Шарикоподшипник эвакуируется в Куйбышев. Оставляю в стороне переживания. Часов в 9-10 утра пошел на Черкасский – в Гослитиздат, где были тогда редакции “Знамени” и “Красной нови”. По дороге на Маросейке побрился в пустой парикмахерской, вышел, не заплатив, и мастер не остановил меня, а уже в Гослите, доставая носовой платок, обнаружил в кармане белую салфетку из парикмахерской. Вот такая была всеотчужденность, такой лунатизм. В Гослите было пусто и все двери стояли настежь. На третьем этаже бродила по коридору женщина с толстой папкой в руках. Узнала меня, ни о чем не спрашивая, протянула тяжелую для ее рук папку, сказала, что это рукопись перевода “По ком звонит колокол”, сказала, что не может уйти, пока не препоручит кому-нибудь эту рукопись, просила меня спасти ее. Это была тихо-безумная Сабадаш – зав. редакцией “Знамени”. Я полчаса читал “Колокол”, ничего не чувствуя кроме счастья, что я в Москве¹¹¹.

От трибунала Данина спас Оренбург.

Но даже в ЦК партии обстановка после бегства из Москвы была ужасная. Крупный чин НКВД в своем рапорте 20 октября 1941 года писал:

После эвакуации аппарата ЦК ВКП(б) охрана 1-го отдела НКВД произвела осмотр всего здания ЦК. В результате осмотра помещений обнаружено:

1. Ни одного работника ЦК ВКП(б), который мог бы привести все помещение в порядок и сжечь имеющуюся секретную переписку, оставлено не было.
2. Все хозяйство: отопительная система, телефонная станция, холодильные установки, электрооборудование и т. п. оставлено без всякого присмотра.
3. Пожарная команда также полностью вывезена. Все противопожарное оборудование было разбросано.
4. Все противохимическое имущество, в том числе больше сотни противогазов “БС”, валялись на полу в комнатах.
5. В кабинетах аппарата ЦК царил полный хаос. Многие замки столов и сами столы взломаны, разбросаны бланки и всевозможная переписка, в том числе и секретная, директивы ЦК ВКП(б) и другие документы.
6. Вынесенный совершенно секретный материал в котельную для сжигания оставлен кучами, не сожжен.

¹¹¹ Данин Д. *Строго как попало*. Вопросы литературы. № 6. 2005.

7. Оставлено больше сотни пишущих машинок разных систем, 128 пар валенок, тулупы, 22 мешка с обувью и носильными вещами, несколько тонн мяса, картофеля, несколько бочек сельдей и других продуктов.

8. В кабинете тов. Жданова обнаружены пять совершенно секретных пакетов.

В настоящее время помещение приводится в порядок¹¹².

Телефонная связь работала, и в учреждениях звенели звонки: суровые голоса называли фамилии некоторых сотрудников и объявляли “от имени органов”, что если эти лица к утру следующего дня не покинут Москвы, то будет считаться, что они ждут немцев. Желание остаться и разделить судьбу родного города воспринималось властью с раздраженным подозрением.

Восемнадцатилетний юноша, освобожденный от призыва, сын поэта и уже сам поэт Всеволод Багрицкий писал в дневниках о 16 октября:

Женщины в платках. Ни одного человека без свертка или рюкзака. Переполненные троллейбусы – люди ехали просто сзади, там, где свисают две веревки и лесенка ведет на крышу. Ободранные, небритые, ничего не понимающие бойцы. Метро, которое почему-то было закрыто. Санитарные машины, наполненные женщинами в пуховых платках, узлами, швейными машинами.

Мое путешествие будто бы пришло к концу. Я должен был уехать из Москвы на машине, но в связи с появлением нового, более реального плана вместе с Арбузовым и Гладковым отправился 22 октября на поезде в Казань. Передвигались мы довольно комфортабельно, ни разу не были подвергнуты бомбардировке. Хотя на каждой впереди следующей станции валялись остатки разрушенных вагонов. В общем, нам повезло. Сейчас нахожусь в Чистополе. В двадцати часах езды на пароходе от Казани. Приехал сюда я только вчера вечером. Но чувствую – тоска здесь невероятная. Найду ли я какую-нибудь работу? Пока живу в гостинице. Обедал я в отвратительной столовой.

Скоро начнется зима, навигация прекратится. И этот дрянной Чистополь вообще будет отрезан от мира. Картина безрадостная. Но жизнь есть жизнь¹¹³.

Такое отношение к городу было связано с ужасающим контрастом между московской и чистопольской реальностями.

¹¹² Лубянка в дни битвы за Москву. С. 90–91.

¹¹³ Багрицкий Вс. Дневники. Письма. Стихи / Сост. Л. Г. Багрицкая и Е. Г. Боннэр. М., 1964. С. 91–92.

Москва – Казань – Чистополь. Октябрь – ноябрь

Оказавшись в казанском поезде, Маргарита Алигер вспоминала, что Пастернак и Ахматова ехали в жестком вагоне в одном купе. Они держались просто и естественно, не суежились на фоне всеобщего смятения, были сдержанны. Алигер отмечает, что их присутствие неуловимо помогало другим.

В Казани Маргарита Алигер вместе с другими эвакуированными переехала с вокзала на пристань и оказалась в одной каюте с Ахматовой.

Весь вечер у нас было людно, – вспоминала она, – без конца пили чай из большого синего чайника, который я везла своим. Чай был без сахара, и хлеб был черный и сыроватый, но это было вкусно. Кто-то из женщин обратил внимание на дымчатые бусы на шее у Анны Андреевны. “Это подарок Марины”, – сказала она, и все вдруг замолчали, и в тишине стало слышно, как работает машина и как шумит река. Волга или Кама?.. Кама... Елабуга... Марина Цветаева... Не прошло еще двух месяцев с тех пор, как мы узнали о ее трагическом конце. “Нет в мире виноватых”, – сказал когда-то Шекспир. Но, может быть, тот великий, который скажет когда-нибудь, что все виноваты, будет не менее прав¹¹⁴.

Уже ушедшая Цветаева будет неоднократно появляться на дорогах Ахматовой. Она возникнет в Чистополе в рассказах Лидии Чуковской, появится в Ташкенте как тень, следующая за Муром. И каждый раз Ахматова будет отмечать пересечения, которые происходят на ее пути.

Продолжим цитату.

Наконец гости наши разошлись, и вот мы остались вдвоем и, устроившись на ночь, погасили огонь. Сразу стала слышна река за стенкой каюты и ритмичные сотрясения машины. Не помню, сколько мы пролежали молча, чувствуя, однако, что обе не спим, и вдруг Ахматова заговорила. Совсем по-другому, чем говорила она при свете дня и при людях. Совсем другим голосом, другим тоном. И совсем о другом. И словно бы не начав внезапно, а продолжая давно начатый разговор.

– Такая огромная страна... Такая огромная война... Человечество еще не знало войны такого великого смысла, такого всеобщего смысла... Она перевернет мир, эта война, переделает всю нашу жизнь... Да, да, и нашу жизнь – я именно это хотела сказать... Смотрите, как она срывает все покровы, стирает все камуфляжи, обнажает все безобразное, чтобы люди увидели, поняли, возненавидели, уничтожили... Такая война! И как она трезво и точно определяет, что к чему и кто, кто... Нет, нет, поверьте мне, это самая великая война в истории человечества... И уверяю вас, никогда еще не было такой войны, в которой бы с первого выстрела был ясен ее смысл, ее единственно мыслимый исход. Единственно допустимый исход, чего бы это нам ни стоило. Мы выиграем войну для того, чтобы люди жили в преображенном мире. Все страшное и гнусное в нем будет смыто кровью наших близких...

Я лежала, почти не дыша, боясь что-то пропустить, что-то не расслышать. Я понимала ее порыв – все, что она говорила, она говорила мне, она ведь знала, что мой муж убит. Но не только ко мне и не только к собственной душе

¹¹⁴ Алигер М. *Тропинка во ржи*. С. 342–343.

была обращена ее взволнованная речь, полная внутренней убежденности и душевного жара. Она говорила со временем, с историей, с будущим.

За окном каюты шумела Волга, а может быть, уже и Кама, и шум воды удивительно сочетался с ночным голосом моей спутницы. В каюте было темно, и мы не видели друг друга. И хотя мы отнюдь не были ближе друг к другу, чем тогда, зимой сорокового, в крошечной комнате на Ордынке, но голос ее наполнял все вокруг, и я словно дышала им, и он был горячий, живой, близкий, неотделимый от нашей жизни, от нашей общей судьбы. В ту ночь мы и познакомились по-настоящему. С той ночи я понимаю, сколь горячо и кровно жила она всем, чем жили все мы, ничем не защищенная от жизни, ничем не отгороженная от страдания людей. Но при этом она безошибочно знала, что может стать под ее пером стихами, а что стихами не станет, будучи даже самым искусным образом зарифмовано. И никогда не разрешала себе зряшной траты того драгоценного материала, из которого возникает истинная поэзия¹¹⁵.

В Чистополе Ахматова выйдет, а Алигер отправится к матери и дочке в Набережные Челны, чтобы через несколько месяцев вернуться в военную Москву. Ахматова же пойдет искать в незнакомом, перенаселенном Чистополе свою ленинградскую приятельницу Лидию Чуковскую.

Итак, Чистополь принял вторую волну эвакуированных, к которой совсем не был готов. Сюда к 20 октября дошла московская паника, которая взбудоражила тех, кто как-то свыкся со своим положением. Хроникер Виноградов-Мамонт, выражая общее тревожное настроение в среде эвакуированных, писал:

9 октября. Четверг. Потрясло известие: бои за Вязьму, на брянском и мелитопольском направлении. Орел сдан! То есть угроза Москве, Донбассу и Кавказу... Встретил Л.М. Леонова, Ю.В. Никулина. Все смущены, взбудоражены и напуганы сводкой. Раздумывают, не поехать ли дальше – за Урал, в Сибирь или в Среднюю Азию. <...> Любопытная подробность: все думают, что Гитлер придет и в Чистополь, и каждый по-своему “прогнозил”, разыгрывая будущий ход события.

13 октября. Понедельник. <...> в Казани вводится военное положение, <... > детей в школах предложено немедленно обучить ПВХО, <... > в Чистополе следует готовить щели.

15 октября. Среда. <...> Был я в профкоме писателей: картошка в воздухе, керосина нет, дрова будут только в том случае, если мы выделим 90 человек, способных за день погрузить 350 кубометров на баржу. <... > А где взять 90 человек? В. Смирнова рассказывала, будто Горький уже бомбят, в Казани – затемнение и грабежи ночные плюс голодовка. Но население чистопольское успокаивается, ибо все понимают, что ехать некуда. Л. Чуковская получила телеграмму от отца и Совнаркома о переезде в Ташкент.

16 октября. Четверг. Утром сводка впервые откровенно заявила: “Положение на западном фронте ухудшилось”. Прорыв. Итак, Москва уже под прямым ударом. Мы проснулись в 5 ч. 30 м. <...> В 12.30 неожиданно пришла к нам Л.К. Чуковская. Она сообщила, что Пастернак и Федин везут сюда теплые вещи и деньги. Просила достать дров. Тарле заказывает ей брошюру, и

¹¹⁵ Там же. С. 343–344.

она думает взять Д. Давыдова. Я обещал помочь ей книгами. В Ташкент она ехать колеблется – боится дороги. Говорят, сюда приедет Ахматова. <... >

19 октября. Воскресенье. <... > Мария вернулась с базара и сообщила новости: приехали Ахматова, Федин и Б. Пастернак,

Т. В. Иванова. Со слов Т. В. Ивановой – В. В. рисует Москву в полной неожиданности и растерянности. На базаре многие москвичи распродают свои вещи. А что будет дальше? <...> По дороге встретили Обрадовича, Рудермана и Ю. Никулина. Оказывается, К. А. Федин сообщил: 1) Москва эвакуируется; 2) союз СП переехал в Казань, писатели – кто в Алма-Ату, кто в Ташкент, кто в Казань; 3) Большой, Малый, Камерный и, кажется, Вахтангова – уже в Казани <...>; 4) МХАТ уехал в Ташкент...¹¹⁶

Ахматова приехала в Чистополь, ей удалось найти Лидию Чуковскую и поселиться у нее. Дорога ее измучила. Она рассказывала о блокаде Ленинграда, предполагая ужасные перспективы. В дневнике Л. К. Чуковская писала от 21 октября 1941 года:

Анна Андреевна расспрашивает меня о Цветаевой. Я прочла ей то, что записала 4.1X, сразу после известия о самоубийстве. Сегодня мы шли с Анной Андреевной вдоль Камы, я переводила ее по жердочке через ту самую лужу-океан, через которую немногим более пятидесяти дней назад помогала пройти Марине Ивановне, когда вела ее к Шнейдерам.

– Странно очень, – сказала я, – та же река, и лужа, и досточка та же. Два месяца тому назад на этом самом месте, через эту самую лужу я переводила Марину Ивановну. И говорили мы о вас. А теперь ее нету и говорим мы с вами о ней. На том же месте!

Анна Андреевна ничего не ответила, только поглядела на меня со вниманием¹¹⁷.

В городе идет движение людей. Одни решают остаться, другие собираются в Среднюю Азию и, в частности, в Ташкент. Приближение немцев к Москве делает уязвимой и Казань, а за ней и Каму. Остальные, устроив семьи в Чистополе, отправляются на фронт.

На собраниях, созываемых местной партийной организацией, пытаются убедить жителей, что Москва сдана не будет. Возникают вопросы о Казани, где уже был введен комендантский час, по городу ходили патрули. Но партийные органы объясняют, что это лишь затемнение, а не военное положение. Однако писатели не верят. Идут разговоры об отъезде.

Лидия Чуковская получает вызов от отца и решает, взяв с собой детей, ехать в Ташкент. С ней же отправляется и Анна Ахматова. Выезжают 24 октября, а 25-го – семья Вс. Иванова. Уезжает еще несколько семейств, что приводит писательскую колонию в раздражение, а порой вызывает даже злобу к отъезжающим.

В Казани, откуда эвакуированные отбывают в Ташкент, Ахматова и Чуковская встречают Фадеева, который был там по пути в Чистополь к семье.

Огромный зал Дома печати набит беженцами из Москвы. Спят на стульях – стулья стоят спинками друг к другу. Пустых мест нет. Мы с Идой уложили Анну Андреевну на стол, Люшу и Женю – под стол, а сами сели на подоконник. Анна Андреевна лежала прямая, вытянувшаяся, с запавшими глазами и ртом, словно мертвая. Мне под утро какой-то военный уступил место

¹¹⁶ Виноградов-Мамонт Н. [Из дневника]. С. 116–117. Там же. С. 343–344.

¹¹⁷ Чуковская Л. *Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. 1938–1941.* М., 1997. С. 234.

на стульях. Я легла, но не спала. Когда рассвело, оказалось, что бок о бок со мной, за спинками стульев, спит Фадеев¹¹⁸.

Оставшимся в Чистополе все больше начинает казаться, что те, кто может устроиться, бежит от немцев, которые вот-вот будут здесь. Тем более слухи о том, что будто бы правительство оставило Москву, только-только достигли Чистополя. Сообщается также, что столица готовится к уличным боям.

Возможно, спешные отъезды и ожидание немцев в городе и явились последним толчком к самоубийству Елены Санниковой, которое произошло 25 октября 1941 года.

Вадим Белоцерковский писал нечто отличное от многих других воспоминаний. И речь, видимо, шла о самых напряженных днях.

Местное население относилось к нам, эвакуированным, с открытой враждебностью. Нас называли “выковыренными”. <...> Сильное беспокойство вызывали слухи о дезертирах, бежавших с фронта. В поисках дезертиров в дома по ночам стали врываться патрули НКВД. Пришли и к нам и, несмотря на документы отца, устроили обыск, заглядывали под кровати¹¹⁹.

В опустевших соседних селах некому было убирать урожай, а первая военная осень выдалась дождливой. Женщины и дети старались погонять полуживых лошадей, но грязь была такой, что измученные лошади, надорвавшись, издыхали и падали на обочинах дороги.

¹¹⁸ Там же. С. 235.

¹¹⁹ Белоцерковский В. *Путешествие в будущее и обратно*. С. 49.

Ташкент. Конец 1941-го начало 1942 года

Корней Иванович Чуковский, оказавшись в Ташкенте в октябре 1941 года, искренне восхищался открытым на старости лет восточным городом.

Я брожу по улицам, – писал он в дневнике, – словно слушаю музыку – так хороши эти аллеи тополей. Арыки и тысячи разнообразных мостиков через арыки, и перспективы одноэтажных домов, которые кажутся еще ниже оттого, что так высоки тополя, – и южная жизнь на улице, и милые учтивые узбеки, – и базары, где изюм и орехи, – и благодатное солнце, – отчего я не был здесь прежде – отчего не попал сюда до войны?

Он поселился на улице Гоголя, 56. “Белый двухэтажный дом.

В углу дверь в комнату, где живет семья <...>, в другом конце вход в кабинет Корнея Чуковского”, – вспоминал Валентин Берестов.

Живу в комнате, где, кроме двух геокарт, нет ничего. Сломанный умывальник, расшатанная кровать, на подоконнике книги – рвань случайная – тоска по детям. Окна во двор – во дворе около сотни ребят, с утра кричащих по-южному¹²⁰.

9 ноября Чуковская с дочкой, племянником и с Ахматовой приехала в Ташкент. На вокзале их встречал К. И. Чуковский с машиной и отвез в гостиницу.

В архиве Луговского сохранилась записка:

Уваж. т. Коваленко.

Т. Чуковский берет кв. № 5 на Жуковской. Его квартиру на ул. К. Маркса надо отдать либо тов. Луговскому (5 ч.), или Файко – Леонидову (4 ч.), и веду смотреть келью (как сказал Чуковский) Ахматовой.

К тебе (?) Ник. Вирта¹²¹.

Этот текст, написанный карандашом на обрывке бумаги, фиксирует перемещения первых дней. Не совсем понятна форма подписи. Видимо, она означала некую шутливо-верноподданническую манеру общения, в смысле – “к тебе” прибегаю и т. д. Коваленко, как указано в дневниках Чуковского, был управделами Совнаркома.

Вирта обращался к Коваленко, наверное, в конце ноября 1941 года, когда всю тасовалась колода квартир, углов, клетушек и, разумеется, учитывался определенный ранжир, по которому и происходило расселение.

Николай Вирта с первых же дней стал распорядителем жилья для ташкентских беженцев. Это был очень бойкий человек, на тот момент крупный советский писатель, который сумел в эту трудную пору сделаться для многих настоящим благодетелем.

Если бы не Николай Вирта, – писал в своих военных дневниках о дне отъезда из Москвы Корней Чуковский, – я застрял бы в толпе и никуда не уехал бы. Мария Борисовна (жена Чуковского. – *Н. Г.*) привезла вещи в машине, но я не мог найти ни вещей, ни машины. Но недаром Вирта был смолоду репортером и разъездным администратором каких-то провинциальных театров. Напористость, находчивость, пронырливость доходят у него до гениальности. Надев орден, он прошел к начальнику вокзала и сказал, что

¹²⁰ Чуковский К. *Дневник*. 1930–1969. М., 1997. С. 160.

¹²¹ Семейный архив Владимира Седова.

сопровождает члена правительства, имя которого не имеет права назвать, и что он требует, чтобы нас пропустили правительственным ходом. Ничего этого я не знал (“за члена правительства” он выдал меня) и с изумлением увидел, как передо мной и моими носильщиками раскрываются все двери. Вообще В<ирта> – человек потрясающей житейской пройдошливости. Отъехав от Москвы верст на тысячу, он навинтил себе на воротник еще одну шпалу и сам произвел себя в подполковники. Не зная еще, что всем писателям будет предложено вечером 14/X уехать из Москвы, он утром того же дня уговаривал при мне Афиногенова (у здания ЦК), чтобы тот помог ему удрать из М <оск> вы (он военнообязанный). Аф<иногенов> говорил:

– Но пойми же, Коля, это невозможно. Ты – военнообязанный. Лозовский включил тебя в список ближайших сотрудников Информбюро.

– Ну, Саша, ну, устрой как-нибудь... А за то я обещаю тебе, что я буду ухаживать в дороге за Ант. Вас. и Дженни. Ну, скажи, что у меня жена беременна и я должен ее сопровождать. (Жена у него отнюдь не беременна). <... >

И все же есть в нем что-то симпатичное, хотя он темный (в духовном отношении) человек. Ничего не читал, не любит ни поэзии, ни музыки, ни природы. Он очень трудолюбив, неутомимо хлопочет (и не всегда о себе), не лишен литерат<урных> способностей (некоторые его корреспонденции отлично написаны), но вся его порода – хищническая. Он страшно любит вещи, щегольскую одежду, богатое убранство, сытную пищу, власть¹²².

К характеристике Корнея Ивановича можно добавить, что расторопность помогла Вирте во время войны слетать на Сталинградский фронт именно тогда, когда судьба окруженной дивизии Паулюса была решена – фельдмаршала немецкой армии арестовали на глазах корреспондентов. Вирта присутствовал при сем знаменательном событии, за что и был награжден орденом. Он был обладателем четырех Сталинских премий, но после смерти Сталина фортуна отвернулась от него, Вирта был исключен из Союза писателей, как написано в одном из современных литературных словарей, “за то, что вел привилегированный образ жизни”.

Разным писателям полагалась и разная площадь... Место Ахматовой в советской литературе тех лет определялось той комнатухой – “кельей”, выделенной начальством в первый год ее пребывания в Ташкенте. В писательском доме на улице Карла Маркса, 7, она прожила с ноября 1941-го по конец мая 1943 года.

Это был ноябрь сорок первого года. Поздняя осень или зима по-ташкентски, схожая с осенью, когда голые деревья, мокрые листья в грязи, серый свет, пронизывающие сквозняки, – вспоминала Светлана Сомова, поэтесса, живущая в Ташкенте, которая вместе с Луговским участвовала в составлении поэтических сборников, в том числе и со стихами Ахматовой. – Дом на улице Карла Маркса около тюльпановых деревьев, посаженных первыми ташкентцами. Двухэтажный дом, в котором поселили эвакуированных писателей. Там были отдельные комнаты, а не общежитие, как пишут в примечаниях к книге Ахматовой 1976 года. Непролазная грязь во дворе, слышимый даже при закрытых окнах стрекот машинок. Во дворе справа лестница на второй этаж, наружная. Вокруг всего дома открытый коридор, и в нем двери. Дверь Ахматовой¹²³.

¹²² Чуковский К. *Дневник*. 1930–1969. С. 158–159.

¹²³ Сомова С. *Анна Ахматова в Ташкенте 11 Воспоминания об Анне Ахматовой*. М., 1991. С. 369.

Дом этот стали называть то Олимпом, то Ноевым ковчегом, то вороньей слободкой, и совсем уже зло – лепрозорием. Конечно же, главной достопримечательностью его была Ахматова, поэтому и осталось много разнообразных описаний.

Этот небольшой двухэтажный дом стоял на площади, – писала Белкина, – подле здания Совнаркома, и вдоль тротуара мимо окон бежал арык, а над арыком разрослись деревья. Дом был специально освобожден для эвакуированных писателей и их семейств. В каждой комнате семья, а то и по две за перегородкой. И кто там только не обитал, в этом Ноевом ковчеге! Была семейная пара немцев-антифашистов, бежавших от Гитлера, запуганные, несчастные, плохо говорившие по-русски; был венгерский писатель Мадарас; был Сергей Городецкий, худой, длинный, похожий на облешную старую борзую, он расхаживал в черном костюме с тросточкой, а его жена Нимфа, в просторечии Анна, любила сидеть на крылечке, распустив волосы¹²⁴.

А сама комната Ахматовой, по описаниям Г. Козловской, которая пришла туда в первые дни после приезда, выглядела неуютно и мрачно.

Я оглядела конурку, в которой Ахматовой суждено было жить. В ней едва помещалась железная кровать, покрытая грубым солдатским одеялом, единственный стул, на котором она сидела (так что мне она предложила сесть на постель). Посередине – маленькая, нетопленая печка-буржуйка, на которой стоял помятый железный чайник. Одинокая кружка на выступе окошка “Кассы”. Кажется, был еще один ящик или что-то вроде того, на чем она могла есть¹²⁵.

У композитора Козловского и его жены Анна Андреевна справляла Новый 1942-й год.

Ярким был праздник 1942 года. Мы вместе с Ахматовой были приглашены к Козловским, – вспоминал Евгений Пастернак, сын поэта Бориса Пастернака, который был в эвакуации подростком и учился в ташкентской школе, а затем в военном училище, – где был настоящий, сваренный мастером-узбеком плов, вино и закуски. Потом братья Козловские в четыре руки играли Вторую симфонию Бетховена. Просидели до утра, проводили Ахматову домой и пошли поздравлять соседей¹²⁶.

В начале января Ахматова пустила в свою крохотную келью больную старуху М. М. Блюм, у которой умер в эвакуации муж. Блюмиха, как ее называли в доме, была вдовой того самого театрального Блюма, который нещадно травил и мучил М. А. Булгакова, напав на него пьесы. Об этом Ахматовой могла рассказать Елена Сергеевна Булгакова, но, наверное, это не изменило бы поведения Ахматовой. Сам Блюм умер безвестным в Ташкенте, а его сразу же оказавшаяся бездомной жена была на время пригрета Ахматовой. Анна Андреевна с легкостью раздавала деньги, еду, делила свой кров с любым, кто ее просил об этом. Когда в Ташкенте появилась бездомная, странная поэтесса Ксения Некрасова, то опять же она нашла приют в “келье”.

Через комнатку Ахматовой прошли почти все знаменитые и незнаменитые писатели и поэты.

¹²⁴ Белкина. С. 385.

¹²⁵ Козловская Г. *Воспоминания об Анне Ахматовой*. С. 379–379.

¹²⁶ Пастернак Е. *Понятое и обретенное // Несостоявшийся юбилей дружбы с Михаилом Львовичем Левиным*. М., 2009. С. 551.

Бывал здесь и Луговской. Он относился к ней с подчеркнутым почтением, иногда даже преувеличенно театрально целовал ей руки, глядел на нее, несмотря на свой огромный рост, снизу вверх. Она же с ним держалась величаво и просто. По воспоминаниям С. Сомовой, когда они шли рядом, возникало ощущение, что не она опирается на его руку, а наоборот, она, хрупкая и немолодая, поддерживает его.

В Москве на письменном столе в Лаврушинском переулке у Луговского стояла фотография Ахматовой 1920-х годов. Но в злополучном 1946 году, после выхода известного постановления, Елена Леонидовна, жена В. А., спрятала портрет Ахматовой, а на его месте поставила снимок химеры с собора Парижской Богоматери. Заметив подмену на письменном столе Луговского, язвительный Михаил Светлов воскликнул: “Боже мой, как изменилась Анна Андреевна!”

Тогда еще Елена Сергеевна Булгакова жила на кухне у Вирты на улице Жуковской во втором писательском доме, вспоминала Татьяна Луговская. Потом Елена Сергеевна с сыном Сережей поселилась в комнатках на балахане, где с середины 1943 года, после ее отъезда, будет жить Анна Ахматова.

Раз она (Елена Сергеевна) позвала меня пить кофе с черным хлебом, я пришла, а там Анна Андреевна Ахматова. Она на меня не посмотрела даже, как будто меня нет. Лена нас познакомила, она едва кивнула. У меня кусок в горле застрял. Ахматова очень не любила, когда кто-то врывается. Потом я перестала ее бояться¹²⁷.

Татьяна Луговская в холодные зимние дни таскала у богатых домовладельцев для Ахматовой дрова. Вокруг Анны Андреевны возникала особая атмосфера: каждый проходящий почитал за честь что-нибудь сделать для нее.

К Ахматовой по лесенке поднимались хорошо одетые, надушенные дамы, жены известных и не очень советских писателей, с котлетами, картошкой, сахаром – с дарами. Нарядные дамы порой выносили помойное ведро и приносили чистую воду. Бывали и такие дни, когда ее никто не посещал. И тогда она смиренно лежала на своей кушетке и ждала или нового посетителя, или голодной смерти.

Мария Белкина описывала, как это видела сама в их доме на улице Карла Маркса.

Как-то, когда Анны Андреевны не было дома, к ней зашла Златогорова, бывшая жена Каплера, с которым они вместе написали сценарий прогремевшего тогда фильма “Ленин в Октябре”. Это была очень роскошная, модно одетая женщина, особенно роскошная для Ташкента.

Под ярким японским зонтиком она прошла мимо арыка, мимо моих окон, где я в тени деревьев пасла сына. Она не застала Анны Андреевны и, возвращаясь назад, попросила меня передать ей сверток, предупредив, что если у меня есть кошка, чтобы я спрятала подальше, ибо это котлеты <...>.

Когда я поднялась к Анне Андреевне, она, как всегда, лежала на кровати, быть может, и стула-то в комнате не было, не помню. Кровать была железная, с проржавленными прутьями, – такие кровати добыли для нас из какого-то общежития, и мы были им рады. Я попала второй раз к Анне Андреевне – в первый раз она тоже лежала и, отложив книгу в сторону, выслушала меня. К нам тоже повадились цыгане, и одна цыганка, очень хорошенькая, молоденькая, пришла в пальто, накинутом на голое тело, она бежала от немцев из Молдавии. Мы тогда дали что что мог и одели ее; от Анны Андреевны ей досталась ночная рубашка. И вот прошло дней десять, и эта же девочка-

¹²⁷ Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею*. С. 294.

цыганка, запомняв, должно быть, что была уже в нашем доме, снова появилась на пороге и снова под пальто была голая. Она нарвалась на мою мать, которая, отругав ее, прогнала, мне же велела быстро предупредить Анну Андреевну, а то та не разберется и опять что-нибудь даст этой вымогательнице. Анна Андреевна выслушала мой рассказ о цыганке, промолвила:

– Но у меня нет второй ночной рубашки...

На этот раз, когда я пришла со свертком от Златогоровой, Анна Андреевна лежала, закинув руки за голову, а на груди у нее была открыта записная книжка – я, должно быть, прервала ее работу.

– Опять цыганка? – сказала она, глядя в потолок.

Она лежала все в том черном платье с открытым вырезом и ниткой ожерелья на шее, босая, длинноногая, худая, с гордым профилем, знакомым по картинам и снимкам, запрокинув голову, закинув руки за голову, казалось, написанная на холсте черно-белыми красками, и за солдатской койкой – чудилось – не эта дощатая стена с обрывками грязных обоев, а гобелен с оленями и охотниками и под ней – не солдатская железная койка, белая софа...

Понимая, что Анна Андреевна может быть голодна, я хотела, чтобы она сразу обратила внимание на принесенный сверток, и что-то промямлила про съестное.

– Благодарю вас! – проговорила она, – положите, пожалуйста, на стол. – И, повернув ко мне голову, добавила: – Поэт, как и нищий, живет подаванием, только поэт не просит!¹²⁸

“Советский или красный граф” Алексей Толстой, как его называли в писательских кругах, пытался помогать по-своему. Ахматова была польщена бурным выражением чувств с его стороны, принимала от него продукты, но и тяготилась шумными восторгами и непомерными похвалами.

Однажды Толстой решил проведать Анну Андреевну в ее келье. Лестница, по которой надо было подниматься на второй этаж, была шаткая, валкая и разбитая, как вспоминала потом комендантша дома Полина Железнова.

Будучи грузным и не очень здоровым человеком, Толстой тяжело поднимался по лестнице, часто останавливался и тяжело дышал. За ним шли два сопровождающих товарища, нагруженные корзинами с продуктами.

Ахматова вышла к нему и сказала: “Здравствуй, граф!” Он поцеловал ей руку, и они пошли к ней в комнату. Когда гости ушли, почти все продукты были розданы моментально¹²⁹.

В марте 1942 года Алексей Толстой предложил Ахматовой переехать в дом академиков, но она отклонила это предложение. За комнату надо было платить 200 рублей, а таких денег у нее не было.

Лидия Чуковская писала в “Ташкентских тетрадах”:

Сообщила, что никуда не поедет. “Здесь я, платя 10 рублей за комнату, <могу> на худой конец и на пенсию жить. Буду выкупать хлеб и макать в кипяток. А там я через два месяца повешусь в роскошных апартаментах”.

Весь дом ликует по поводу ее решения. Рассказывают, что Цявловский вдруг кинулся целовать ее руки, когда она несла выливать помои¹³⁰.

¹²⁸ Белкина. С. 386–387.

¹²⁹ Анна Ахматова в записях Дувакина. М., 1999. С. 194.

¹³⁰ Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. С. 416.

В доме на Карла Маркса Ахматовой очень помогала по хозяйству жена драматурга Исидора Штока, до своего отъезда в середине 1942 года. И жена драматурга Радзинского, мать ныне известного писателя и драматурга Эдварда Радзинского, который с родителями тоже находился в Ташкенте. Радзинская постоянно отоваривала карточки, убиралась в ее комнате.

Шток и его жена были соседями Ахматовой по общежитию, слушателями ее поэм, помощниками в быту.

К тому же, – писала Л. Чуковская, – Исидор Владимирович, весельчак и остроумец, развлекал Анну Андреевну своими каламбурами. Когда Штоки уезжали, <...> Ахматова сделала им драгоценный подарок: собственноручно переписанный экземпляр “Поэмы без героя” 1942 года¹³¹.

Помощь Ахматовой, которая осуществлялась абсолютно добровольно многими ее почитателями, раздражала некоторых обитателей дома.

Оказывается, там есть целая когорта дам-вязальщиц – во главе с мадам Лидиной, – вспоминала Лидия Корнеевна, – которые возмущены тем, что NN сама не бежит за пирожками, а ей радостно их приносят, что Цявловский носит ей обед, что Волькенштейн кипятит чайник и т. д. Стихов ее они не читали, лично с ней не знакомы, но рабы души не могут вынести, что кто-то кому-то оказывает почет без принуждения, по собственной воле¹³².

Распутывание отношений Ахматовой с ближними и дальними людьми будет перемежаться тяжелыми, а иногда смертельными болезнями. Все годы эвакуации она боролась со смертью, из лап которой чудом вырвалась, улетев из блокадного Ленинграда. Однако смерть подходила к ней очень близко во все годы жизни в эвакуации; два раза она тяжело болела тифом, потом скарлатиной и ангиной, и так почти до самого отъезда.

Жизнь, смерть, любовь, ненависть, ревность, зависть, злоба и доброта проявлялись в этом тесном человеческом и писательском мире почти ежедневно. Иногда все вдруг смешивалось, запутывалось... Нужна была определенная широта и мудрость, чтобы понять, что происходит с тем или иным человеком. Куда его несет. А менялись в те годы почти все. Можно сказать определенно, что входили в водоворот военных лет одни люди, а выходили совершенно другие. И те, кто умел сохранять доброту и великодушие, легче переносили несчастья. Откликались на беду, помогали, жалели. Но были такие, кто не допускал к себе жалости, не позволял себя жалеть; были высокомерны и горды, заносчивы, возможно, по юности или неопытности жили своей непонятной сложной внутренней жизнью, и молва бывала к ним беспощадна. Так было с Георгием Эфроном, который очень скоро станет одним из участников маленьких и больших драм и трагедий ташкентской эвакуации.

¹³¹ Белкина. С. 427.

¹³² Там же. С. 426.

Ташкентский мир. Расселение писателей

В Ташкенте всех, кто ехал в их поезде, кроме режиссеров и актеров, следовавших далее, в Алма-Ату, сначала разместили в техникуме на Педагогической улице. Быстро сообразив, что скоро город будет буквально переполнен беженцами и жилье начнут “уплотнять”, Мария Белкина с родителями выбрали самую крохотную комнатку в общежитии.

Были заняты помещения институтов, школ, школы работали в три смены, институты теснились в одном здании, сливались учреждения, уплотнялись жилые дома. А эшелоны все шли и шли, и не только с плановыми эвакуированными, для которых Ташкент обязан был обеспечить жилье и помещение для предприятий, но в Ташкент еще устремилась масса людей самотеком, так называемых “диких”, бежавших от немцев, от бомбежек, от страха холодной военной зимы, голода.

В конце октября 1941 года жизнь города мало походила на военную. Вечерние улицы еще были ярко освещены.

По центральной улице по вечерам гулянье, шарканье ног по асфальту, журчанье воды в арыке, и из каких-то получастных ресторанчиков и кафе – музыка. Маленькие оркестрики – скрипка, виолончель, рояль, и кто-то, плохо справляясь с русскими словами, поет надрываясь под Лещенко – кумира белой эмиграции <...>. Это все больше еврей-музыканты, бежавшие от немцев из Прибалтики. А у кафе, ресторанчиков толкуются какие-то подозрительные личности в пестрых пиджаках ненашенского покроя на ватных плечах и предлагают паркеровские ручки, шелковые чулки-паутинки, золотые часы; говорят, у них можно купить даже кокаин и доллары¹³³.

Татьяна Луговская и Мария Белкина после долгого и тяжелого пути в поезде, принарядившись, решили осмотреться в незнакомом городе, напоминавшем эмигрантский Стамбул. Название Ташкента “Стамбул для бедных” пустил находящийся здесь “красный граф” А. Н. Толстой, знающий не понаслышке, как выглядит эмигрантская жизнь.

В первые дни эвакуированных писателей кормили шашлыками на деревянных палочках-шампурах. Приезжие, особенно из блокадного Ленинграда, изумлялись этому так же, как и горевшим уличным фонарям или незатемненным окнам. Правда, вскоре многое переменялось. Фонари продолжали сиять, но появились продовольственные карточки, литеры, лимиты, а шашлыки сменили пирожки, начиненные требухой.

Беженцы металась в поисках комнат, углов, клетушек. Необходимо было расселяться и жить, но сколько: месяц, год, два?.. Многие буквально сидели на чемоданах и считали дни, когда можно будет вернуться в Москву. Скоро эвакуированных негде было расселять. Началось уплотнение, и все оказались друг у друга на голове. Мария Белкина успела предупредить Елену Сергеевну Булгакову, что надо занимать комнатку как можно меньше.

Местные жители, проживавшие в доме на улице Карла Маркса, 7, не без участия Вирты, разумеется, были выселены в приказном порядке. На их место поселили москвичей; конечно же, приехавшие не знали, какой ценой досталась им площадь.

Жены писателей, не дожидаясь машин, перевозивших вещи, размещались в доме по улице Карла Маркса. Марии Белкиной и ее семье полагалась большая комната в расчете на трех человек и ребенка. Но не случайно писательские жены советовали ей быстрее бежать и

¹³³ Белкина. С. 508.

занимать площадь. Когда она пришла, то увидела, что в ее комнате уже расположилась красавица актриса – жена драматурга Е. Габриловича. Растерянная Маша закрыла дверь, села на ступеньки и заплакала; она не понимала, куда ей идти со старыми родителями и грудным ребенком.

Сбежались женщины и, видя творящуюся несправедливость, не долго думая, стали выбрасывать вещи из захваченной комнаты; Габрилович ужасно бранилась и кричала. Но они были непреклонны: “У нее, единственной среди нас, – грудной ребенок”. – “У меня тоже ребенок!” – кричала красавица, указывая на восьмилетнего сына. Это была единственная комната с отдельным входом, она была необходима Габрилович, потому что к ней часто приходили мужчины. В итоге их семьи оказались в смежных комнатах, разделенных тонкой дверью. У красавицы часто собирались актеры и актрисы, шла гульба, пили, веселились, ругались, оттуда слышались крики и брань. Пожилой отец Маши Белкиной, дабы охранить нравственность дочери, завешивал дверь ватным одеялом.

Но тогда, 4 декабря 1941 года, М. Белкина писала А. Тарасенкову на фронт:

Комната у меня лучшая в доме, и многие косятся на меня. Помог мне ее получить Вирта. Живет в этом доме К. Левин (жулик), Нович, семья Лидина (симпатичная), Ахматова (еще не знакомы), Городецкий (любит выпить) и другие. В другом особняке живут Вирта, Погодин, Уткин, Лежнев¹³⁴.

¹³⁴ Копия письма в архиве автора.

Горький запах эвакуации

Еще до переселения на Жуковскую Луговские жили между общежитием и больницей, куда поместили разбитую параличом мать. Разумеется, состояние Татьяны Луговской было подавленным; она видела город только в первые дни, почти не воспринимала людей; в ташкентской больнице, где лежала мать, условия были тяжкие, огромное количество раненых; находиться возле больного, беспомощного человека было невозможно, негде было не только присесть, но даже встать. Было решено перевезти ее в дом на Жуковскую.

О своих бедах и радостях, о Ташкенте и Алма-Ате Татьяна Александровна рассказывала в письмах Леониду Малюгину.

Милый мой Леня, самый лучший из всех когда-нибудь существовавших на свете! <...> Вот я очутилась в Ташкенте. Я писала вам уже про дорогу, не хочется повторяться – тем более это до грусти стандартная и шаблонная история. Уехала в Ташкент, а не к вам (о чем частенько жалею) потому, что сюда можно было ехать организованно (с писателями и братом), а у матери за 2 дня до отъезда был второй удар – я везла ее заново парализованной. (Я не в силах была с ней ехать одна, а увозить ее мне приказали доктора.) Все остальное вы представляете сами. Мне же до сих пор непонятно, каким образом удалось в Москве внести ее в вагон, в этой толчее. Посадили нас Саша Фадеев и Гриша.

Потом мы пересаживались, потом пропал мой чемодан, потом захихикал и заболел брат – словом, разная такая петрушка. Потом Ташкент. Потом была больница и в ней 3-й удар. И я жила с мамой там. С ней и еще с 25 человеками в небольшой палате № 1. (Нет ничего страшнее ташкентской больницы, наполненной беженцами.) И все ждала, что вот-вот она умрет, но она осталась жива, и я, простояв 2 суток в очереди за каретой “скорой помощи”, перевезла ее домой. В мой теперешний дом на Жуковскую. И коротаю с ней век. Бедная старуха – от нее осталось очень мало. Трудно и ей, и с ней. Вот и все. В общем, всякое было <...>.

Все-таки очень одиноко. Пожалуй, и трудно бывает иногда. Я думаю так: если я не сдохну от сыпняка или голода – к чему есть все предпосылки, – значит, останусь жива. Вообще же я стала гораздо спокойнее, чем раньше – до войны. Потом, я теперь стала глава довольно большой семьи: двое болящих – мама и Володя, Поля, которая приехала с нами, и еще Любочка, с которой я побраталась здесь, в Ташкенте. Она – москвичка, и ей было совсем худо, и я взяла ее в сестрички, за что и вознаграждена судьбой, ибо это оказался очень большой души человек. Она не маленькая, даже старше меня, только очень была бедная.

Я даже нанялась на работу в здешний Дворец пионеров, только меня, наверное, выгонят, потому что я разрываюсь на части и работать не успеваю. Город дикий, об этом в след<ующем> письме, а то завтра рано надо вставать. Есть здесь, кроме пыли, нечего¹³⁵.

Интонация дневников, писем, записных книжек резко отличается от послевоенных воспоминаний о тех годах. Ностальгические нотки зазвучат потом, а в тот момент, судя по всему, состояние большинства эвакуированных в Ташкент было депрессивным.

¹³⁵ Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею*. С. 254–255.

Мария Иосифовна рассказывала, что, когда ей мимоходом напомнили про то, что до войны ей нравился роман Стейнбека “Гроздь гнева”, она была потрясена – самым напоминанием о жизни, которая была до войны. Состояние первых месяцев эвакуации, со всеми бедами, волнениями, смахивало на нервную болезнь с потерей памяти.

И Татьяна Луговская вначале увидела Ташкент как “город, созданный для погибания”; он не показался ей ни красивым, ни доброжелательным. Казалось, что все навеки заброшено в эту дыру – не будет ни Москвы, ни мирной жизни, ни прежних радостей, ни даже прежнего горя. Изменения коснулись всех, и никто не знал, каким он выйдет из испытания войной, эвакуацией, разлукой. Она была подавлена происходящим:

Очень трудно сейчас писать письма, трудно найти интонацию, за которую можно было бы спрятаться. Потом, очень много нужно описывать: как живешь, да что ешь, и про себя, и про всех других. Картина преступления ясна: совершена какая-то очередная блистательная глупость, и я (вы же знаете – как я легка на подъем!) очутилась в Ташкенте. Городе, где даже вода пахнет пылью и дезинфекцией, где летом закипает на солнце вода, а зимой грязь, которой нет подобной в мире (это скорее похоже на быстро стынувший столярный клей), городе, где собрались дамы-фифы и собралось горе со всего Союза, где по улицам вместе с трамваями ходят верблюды и ослы, где вас почему-то называют “ага”, где про ваши родные ленинградские и московские края говорят – Россия (!), где гроб – один из самых дефицитных товаров. В этом городе, созданном для погибания, очутилась я. Зачем, почему – совершенно не могу понять.

Живу как во сне. Снег вспоминаю, как пирожное, а московские тревоги, все прочее вспоминаются каким-то очень содержательным событием в моей жизни. Живу я сейчас чужой жизнью. Я боюсь этого города. Мне кажется, что я застряну здесь на всю жизнь. Леня, обещайте мне, что, когда кончится война и если мы с вами будем живы, вы приедете за мной и увезете меня из этого гнусного города. Хорошо?¹³⁶

Представить после московской жизни, относительно комфортной, что надо будет запасать дрова, выменивать на базаре вещи на продукты, выходить по вечерам на незнакомые улицы, где в подворотнях обитало несметное количество воров, нищих, цыган, было невозможно.

Луговских поселили в двух небольших комнатках во флигеле, примыкающем к основному особняку на улице Жуковской.

Наши комнаты, сделанные из каких-то сараев, но зато каждая имела свой выход во двор. Был еще и дом нормальный, каменный, с фасадом на улицу, но в нем жили люди привилегированные – Погодин, Вирта, Уткин. По этому главному дому и наши лачуги назывались – Жуковская, 54¹³⁷.

Пытаясь обжить чужое пространство, в котором они оказались неизвестно на какое время, Татьяна Луговская относилась к новому дому как художник, создающий декорацию и костюмы из того, что буквально лежит под ногами. “Я навела уют, – рассказывала она, – купила на барахолке два бильярдных кия и повесила занавески из простынь, выкрасив их акрихином. Еще купила детскую пирамидку. У Поли был поклонник электромонтер, он сделал мне лампу из пирамидки”. Так возникли две милые маленькие комнатки, в которых потом, после отъезда

¹³⁶ Там же. С. 256.

¹³⁷ Там же. С. 257.

Луговских в Москву, с конца ноября 1943 года станут жить Анна Ахматова и Надежда Мандельштам.

Ее воспоминания перекликались с нежными письмами к Малюгину, где она нарисовала ему незабываемый Ташкент.

В конце одного из писем она благодарила его: “Спасибо вам, Ленечка, за то, что вы думаете обо мне и заботитесь так трогательно, только это не нужно, я думаю, что я не пропаду”¹³⁸.

До войны он жил в Ленинграде, был театральным критиком и завлитом Большого драматического театра. Прославился неожиданно, написав во время войны пьесу “Старые друзья”, которая широко ставилась по всей стране. Был прославлен, а затем, когда во время травли критиков-“космополитов” заступился за своих друзей, несмотря на свое нееврейское происхождение, был ошельмован вместе с ними и изгнан с работы. Потом написал вдумчивую и тихую пьесу о Чехове и Лике Мизиновой “Насмешливое мое счастье”.

Юрий Трифонов, его близкий друг, после смерти этого скромного, но очень надежного человека написал: “Слова Чехова о его «насмешливом счастье» могли бы с такой же справедливостью относиться к Леониду Малюгину. И так же молча, без жалоб, с таким же упорным мужеством, как его любимый Антон Павлович, вынес Леонид Антонович годы борьбы со смертельным недугом”¹³⁹.

Татьяна Луговская стала тоже в каком-то смысле “его насмешливым счастьем”. Ее письма, ироничные, но теплые, излучали радость дружеской любви и признательности за все, что он для нее делал. С Малюгиным они были связаны до войны подробной перепиской, он жил в Ленинграде, она – в Москве. Его чувство к ней было безответным, она к нему питала лишь нежное дружеское расположение. Он умер холостым, не дожив до 60 лет, от рака, в 1963 году. Последний в своей жизни Новый год, убежав из больницы, справлял с Татьяной Александровной и ее вторым мужем, своим близким другом Сергеем Ермолинским.

Всю войну он незаметно помогал Луговским, взяв их под свою опеку.

¹³⁸ Там же. С. 293.

¹³⁹ Архив автора.

“В этой комнате колдунья до меня жила одна...”

*То горькая и злая,
То девочка, то словно зверь мохнатый,
То будто мудрость, даже состраданье,
То словно злоба в огненном свеченье,
То словно радость или вещий сон.*

Владимир Луговской. Крещенский вечерок

Прямо над комнатками Луговских находилась знаменитая балахана – комната с ведущей туда лестницей, заканчивающейся балкончиком. Там поселилась Елена Сергеевна Булгакова. Современники вспоминали, что дом на Жуковского, 54, состоял из нескольких построек – направо, налево, главный особняк и строение в глубине двора. К нему была пристроена снаружи деревянная лестница, ведущая наверх, на балахану. До того, как там поселилась Анна Андреевна, в доме уже жили писатели, в том числе Иосиф Уткин, Луговской, Погодин и другие.

Елена Сергеевна была дружна с Анной Андреевной еще с 1930-х годов. Ахматова любила талант Михаила Афанасьевича Булгакова, написала стихотворение на его смерть. В Ташкенте Елена Сергеевна многим давала читать роман “Мастер и Маргарита”. Алигер, со слов Раневской, писала о том, как Ахматова читала вслух куски романа Булгакова и повторяла: “Фаина, это гениально, он гений!”¹⁴⁰

С Луговскими в Ташкенте Елена Сергеевна одно время жила общей семьей.

Булгакова вошла в жизнь Луговского в конце 1940 года. Их история началась после того, как умер М. А. Булгаков. Елена Сергеевна оказалась в водовороте новых отношений, очень неровных, но на тот момент необходимых им обоим.

Володя жил под Москвой, – рассказывала Татьяна Александровна. – Кажется, это был сороковой год, да, сороковой. Он позвонил мне – приезжай и оденься получше. Я оделась – у меня были такие вставочки из органди. Все хорошо, но на лице выступили пятна – аллергия у меня бывала, теперь уже нет. У него была комната большая. Пришел Маршак, сел под торшер, читал стихи. Он много знал наизусть. Бесконечно.

Потом Володя повел меня знакомиться с Еленой Сергеевной. Она мне показалась очень старой. Ей было лет 50. Потом перестало так казаться. Она не была красивой никогда, но была очень обаятельна. У Володи с ней был роман. Я ее понимаю. У нее в жизни образовалась такая дыра, ее нужно было чем-то заполнить¹⁴¹.

Елена Сергеевна очень тяжело пережила смерть мужа, Луговской не был и не мог стать заменой, занять место Булгакова не мог никто. Ей, видимо, просто нужен был талантливый и добрый человек, к которому можно было прислониться. Своим бесконечным обожанием В. А. покорила ее.

Дочь Луговского, Маша (Муха), которой было тогда десять лет, вспоминала, как увидела Елену Сергеевну первый раз. В конце сорокового года Луговской часто заходил к дочери в свою бывшую квартиру в Староконюшенном, где маленькая Муха жила с матерью. В тот день

¹⁴⁰ Алигер М. *Тропинка во ржи*. С. 346.

¹⁴¹ Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею*. С. 293.

они пошли гулять и за разговорами оказались на Новодевичьем кладбище. Подошли к могиле Надежды Аллилуевой. Отец сказал ей, что, когда сюда приезжает Сталин посетить могилу жены, кладбище закрывается. Потом пошли вглубь по аллеям и на скамеечке увидели женщину, которая сидела возле могилы. Луговской сказал дочери, что это его знакомая, Елена Сергеевна Булгакова, и Муха поздоровалась с ней. Вместе они вышли с кладбища. Муха стеснялась незнакомой женщины и молча шла впереди, а Луговской с Еленой Сергеевной сзади о чем-то негромко разговаривали. Видимо, вспоминая о той встрече, в письмах из Ташкента отец часто передавал ей привет от Елены Сергеевны.

Опыт бедственного счастья

Луговской был красив, ярок и в то же время добр, мягок и податлив. Он нравился многим женщинам. Они любили его бесконечно. Остались сотни писем от тех, которые страдали, проклинали и все равно прощали его.

Его первое по-юношески сильное чувство было связано с именем Тамары Груберт. В 1918 году в Сергиево, недалеко от колонии, организованной отцом, спасавшим в Подмосковье детей от голода, стоял туберкулезный санаторий, куда молодой Владимир Луговской бегал на свидания к дочери врача. Позже он посвятит ей первый сборник своих стихов “Мускул”. Эта юношеская любовь шла через испытания новой моралью: молодые люди менялись фамилиями, утверждали, что свободны друг от друга, расставались, встречались, но после тяжелого кризиса в жизни поэта стали жить вместе. Тамара родила ему дочь Машу (Муху), но их брак просуществовал недолго.

Пианистка Сусанна Чернова, с которой он стал жить в начале 30-х годов, немного вздорная, но независимая женщина, не вынесла бесконечно сжигающей ревности и в усталом раздражении ушла из дома, от его легкомысленной ветреной жизни, от поклонниц, вечно осыпающих его письмами и фотографиями, от неопределенности, свойственной поэтам, тяжело отражающейся на совместном существовании. Луговской очень тосковал о ней, молил вернуться, но напрасно. Он посвятил ей лирический сборник стихов “Каспийское море”, свои лучшие лирические стихи; некоторые образы поэм из будущей книги “Середина века” были навеяны ее рассказами о детстве в Баку. Он тяжело пережил ее уход в конце 30-х годов.

Майя Луговская (Елена Леонидовна Быкова), с которой он свяжет свою жизнь после войны, на основании его рассказов, писем и своих догадок в частично опубликованных мемуарах выстроила свой образ Елены Сергеевны Булгаковой и ее отношений с Луговским.

Меньше года оставалось до начала войны. Измученная тяжелейшей, длительной болезнью мужа, пережившая его смерть, Елена Сергеевна тогда как бы возрождалась к жизни. Она была еще хороша. Среди тех, кто окружал ее, появился и Луговской. Он был холост, свободен. Возник роман. Луговской влюбился в Елену Сергеевну. Повез в Ленинград, чтобы познакомить ее с Тихоновыми. Ироническая Мария Константиновна (жена Тихонова) как-то рассказывала мне потом, что Луговской, подобно тетереву, распускал перья, токуя перед Булгаковой. “Звал Инфанта. Ее, даму под пятьдесят”¹⁴².

Елена Сергеевна, как могла, поддерживала его, писала ему в начале войны нежные письма из Пестово, где находился дом отдыха МХАТа.

¹⁴² Луговская М. *Науци оправданиям*. Биографический роман. Неопубликованная рукопись.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.